



Федор Буслаев

Мои воспоминания

«Public Domain»

1891

Буслаев Ф. И.

Мои воспоминания / Ф. И. Буслаев — «Public Domain»,
1891

«Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г. ...»

© Буслаев Ф. И., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

От издателя В. Г. Фон-Бооля	5
Мои воспоминания	7
I	7
II	11
III	20
IV	32
V	36
VI	43
VII	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Федор Буслаев

Мои воспоминания

От издателя В. Г. Фон-Бооля

Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г.¹

Еще до своего юбилея Федор Иванович стал замечать, что левый глаз его стал худо видеть; призванный окулист нашел появление желтой воды. Несмотря на принятые меры, вскоре и другой глаз был поражен тем же недугом, и зрение Федора Ивановича стало все более и более ухудшаться. Летом 1888 г. Федор Иванович еще сам подготовлял новое издание своего учебника русской грамматики, делая в нем дополнения и изменения. Это была последняя его работа; в течение зимы зрение его настолько ослабело, что ему было запрещено самому читать. Хотя он с полною покорностью и с христианским смирением перенес это тяжелое испытание, но уменьшение привычной самостоятельной умственной деятельности, видимо, вредно отозвалось на нем: он стал заметно слабеть. Один из его друзей посоветовал ему заняться диктовкой своей биографии и своих воспоминаний. Сначала Федор Иванович не соглашался на это, говоря, что он не может сообщить ничего интересного; однако после настояний и уговоров, согласился приняться за эту работу, а начавши ее, продолжал уже не только охотно, но даже с увлечением. Труд этот наполнил его жизнь, и он опять повеселел и стал бодрее. Воспоминания свои Федор Иванович писал в течение 1889, 1890 и 1891 годов; они, как впрочем все, выходившее из-под его пера, оказались написанными талантливо и дают весьма важные указания для уяснения недавнего прошлого русской литературы и истории Московского университета.

С осени 1892 г., когда «Воспоминания» были окончены, друзья Федора Ивановича были озабочены доставлением ему нового занятия. Было задумано описать собрание его рукописей; предполагалось составить полный каталог этих рукописей, причем Федор Иванович должен был указать время появления каждой из них литературное и историческое значение ее и сделать оценку как самой рукописи, так и тех миниатюр, которые в ней находятся. Работа эта до такой степени заинтересовала Федора Ивановича, что он, постоянно думая о ней, находился в возбужденном состоянии и, по словам его близких, даже бредил о ней ночью. Чтобы не слишком утомлять Федора Ивановича, решено было заниматься только по воскресеньям и праздникам от 12 до 4 часов. В первое же воскресенье все рукописи были разобраны по отделам; в понедельник и вторник Федор Иванович стал рассматривать их, но глаза его от напряжения стали быстро утомляться; от сознания и огорчения, что он не в состоянии заняться этой работой, у него разболелась голова, появился жар, и он слег в постель. По всей вероятности, это дало только толчок для развития какой-то скрытой болезни его, так как он проболел всю зиму 1892/93 г., хотя самая болезнь и не была точно определена докторами. Во всяком случае, пришлось отказаться от задуманной работы, и сам Федор Иванович во время болезни не раз высказывал глубокое сожаление о том, что он

¹ Мы не помещаем здесь ни биографии покойного Федора Ивановича, ни перечня его ученых и литературных трудов, так как в течение второй половины 1897 г. об этом печаталось во всех столичных и даже провинциальных газетах и журналах. Подробные указания его ученых трудов помещены в V томе Критико-биографического словаря С. А. Венгерова (СПб., 1897 г.).

не может исполнить столь интересный для него труд: «Если бы, – говорил он, – одним годом раньше надоумили меня взяться за него; теперь же глаза мои уже не могут более смотреть: я почти слеп».

Только летом 1893 г. Федор Иванович, живя на даче Наживина (около Покровского), окончательно поправился.

Гуляя летом по парку, Федор Иванович любил спутнику своему рассказывать из прошлого своей жизни. Часть этих рассказов потом он поместил в «Мои воспоминания», но очень многое не было внесено в них. Поэтому один из его друзей начал сам записывать его рассказы, и однажды прочел ему его же рассказ, прося позволения, после каждой беседы с ним, записывать и потом прочитывать ему слышанное от него. Федор Иванович не только согласился на это, но даже взялся сам диктовать ему различные события, не вошедшие в отпечатанные уже «Мои воспоминания». Таким образом, появилась интересная рукопись, которую сам Федор Иванович озаглавил: «Дополнения к «Моим воспоминаниям»». С 24 августа 1893 г. по 1 марта 1896 г. Федор Иванович аккуратно один раз, а когда мог, то и два раза в неделю диктовал «Дополнения» и довел их до конца (рукопись включает в себе 406 страниц листового формата). В заключение «Дополнений» Федор Иванович хотел еще продиктовать две главы: одну педагогического, другую психологического содержания, которые, по его словам, составили бы его *profession de foi*; но после 1 марта (на Страстной неделе) он заболел инфлюэнцей и слег. Болезнь разом подкосила как физические его силы, так и его память: он не мог ходить и стал забывать самые обыкновенные события. Лето он провел на даче в Люблине, где хотя и поправился, но ни физические силы, ни память его уже не восстановились. Вот почему, по возвращении в город в августе, он отказался диктовать вышеупомянутые две главы; вместо этого он думал привести в порядок свои заметки о слоге Тургенева. Заметки эти Федор Иванович составлял много лет; но они были разбросаны на различных клочках бумаги и отчасти на полях книг; эту-то работу Федор Иванович хотел привести в систему зимой 1896/97 г. Однако и эта работа оказалась ему не под силу, и всю зиму он мог только слушать то, что ему читали и говорили. Он был настолько слаб, что с приезда в город ни разу не решился выйти на воздух. В июне 1897 г. Федор Иванович поехал на дачу опять в Люблино, где вскоре окончательно слег и 31 июля его не стало...

Настоящее издание «Моих воспоминаний» Ф. И. Буслаева мы сохранили в том виде, в каком они были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1890, 1891 и 1892 годах; при этом мы восстановили ту орфографию, которой держался сам автор, указывая при диктовке своих записок на те слова, в правописании которых он не соглашался с Гротом. Что касается «Дополнений к «Моим воспоминаниям»», то хотя четыре главы их и были напечатаны при жизни Федора Ивановича (три главы в «Почине» Общества Любителей Российской словесности 1896 г. и одна в «Вестнике Европы» 1896, N 1), но мы их здесь не поместили, чтобы не нарушать цельность его записок, признавая в то же время печатание «Дополнений» в полном виде пока неудобным. Если «Дополнения» эти когда-нибудь появятся в печати, то отдельной книгой, составив вторую часть «Моих воспоминаний».

Москва, 1897 г.

Декабрь.

Издатель.

Мои воспоминания

Посвящается моим ученикам и ученицам

I

...В июле месяце 1834 г. отправился я из Пензы в Москву держать экзамен в университет вместе с моим товарищем Даниловым. Мне только что минуло 16 лет 13 апреля, и я был совсем еще маленьким мальчиком, и голос у меня был совсем ребяческий. Выростал я уже потом, в течение всего четырехлетнего университетского курса.

Решительно ничего не помню, как я расставался с своей матушкой, от которой мне еще ни разу в жизни не приходилось отлучаться; не помню, вероятно, потому, что я сильно поглощен был этим необычайным переворотом в моей жизни, горестью разлуки, страхом ожидания будущего.

Поехали мы в кибитке парюю, на долгих, не торопясь, шажком. По дороге останавливались кормить лошадей и переночевывать. По всему шестисотверстному пути, должно быть, мне редко случалось глазеть по сторонам, потому что я, не переставая, читал и учил наизусть всеобщую историю, кажется – Шрекка, которою тогда была заменена в гимназиях Кайданова. Живо помню только одно, сильно подействовавшее на меня впечатление. Проехав дней шесть, мы остановились у одной почтовой станции. Перед ней стоял полосатый верстовой столб. На стороне, обращенной назад, было начертано: «От Пензы 300 верст», а на стороне вперед тоже: «От Москвы 300 верст». Должно быть, сильно поразила меня тогда мысль, что я стою на линии великого для меня жизненного перевала.

Впоследствии случалось мне не раз вспоминать об этом верстовом столбе всякий раз, когда я читал, как Вильгельм Мейстер. в «Wanderjahre», отправившись из дому в далекое странствие, добрался, наконец, в самой верхней долине высоких гор, до перевала, отделяющего течение потоков и рек: одни спускались назад, по дороге, уже им пройденной, а другие – вперед. И когда он только что стал спускаться, живо почувствовал, что он вступил в другие воды и на другие берега, и сердце его сжалось тоскою по родине и тяжелым недоумением: что-то ждет его впереди!?

Наслышавшись дома, как белокаменная Москва, подражая древнему Риму, разлеглась на семи холмах, мы с нетерпением ждали, когда приближались к ней, и вперяли свои взоры вдаль, чтобы увидеть на горизонте ее пресловутые золотые маковки, и, конечно, мы насладились бы невиданным для нас зрелищем с Поклонной горы, если бы ехали по смоленской дороге. Но со стороны Рогожской заставы мы и не заметили, как попали в Москву, и ехали уже по Рогожской улице, полагая, что это еще какая-нибудь слобода; мы все не переставали ждать и надеяться, что вот, наконец, представится уже нам и сама Белокаменная на одном из холмов с своим Кремлем и соборами. Но слобода все тянулась и тянулась. Избы и деревянные лачуги сменялись изредка домиками и домами, а затем пошли и целые улицы с сплошными каменными зданиями. Мы обманулись в своем ожидании и очутились в Черкасском переулке, между Никольской и Ильинкой, в темноватой и затхлой комнатке с одним окном, выходящим на длинную галерею, окружающую двор гостиницы, или, как говорилось тогда, подворья. Таково было первое впечатление при водворении моем в древней столице, где мне суждено было с 16-летнего возраста прожить до глубокой старости. Привыкнув к широкому раздолью гористой Пензы с окружающими ее полями и дремучими лесами, я почувствовал то, что, вероятно, должна почувствовать птичка, попавшая в клетку или в западню. Может быть, это тяжелое впечатление помутилось и чувством разлуки с матушкой, которое тогда

с особенной силой меня обуяло, а может быть и потому, что только теперь во всем ужасе предстало передо мной решение ожидающей меня судьбы.

Не помню, сколько дней прожили мы в гостинице, только не долго. Она оставила во мне одно странное воспоминание, которое и до сих пор иногда возобновляется, когда я прохожу по Черкасскому переулку. Это – какое-то особого рода зловоние, какого я прежде никогда не ощущал: это – своего рода запах от всяких нечистот с приправою гнилых лимонных корок, которыми во множестве усеяны были помойные ямы нашей гостиницы. Это были лимонные кружки из-под чая, которые выбрасывали половые.

Помнится, водворились мы в гостинице около вечерен. Солнце еще было высоко на горизонте. В этот же день мы пошли на поиски. Данилов, как человек несравненно практичнее меня... должен был нам найти квартиру, разумеется, со столом, а я отправился с письмом от матушки к Кастору Никифоровичу Лебедеву. Жил он у Протасовых, в их собственном доме на Собачьей площадке, в Дурновском переулке. Дом этот стоит и теперь, – первый на правой стороне переулка, вслед за дровяным двором, который выходит углом на площадку. Большую часть жизни проведши в этой местности, всякий раз во время моих прогулок проходя этим переулком, никогда не мог я не вспомнить того далекого времени, когда я с трепетом ожидания и надежды пошел в ворота между флигелем направо и домом налево, поднялся на крылечко и постучался в дверь, – потому что в письме матушки был мой талисман, – и, перешагнув через порог, я делал первый шаг в манящее меня грозное будущее.

Надобно знать, что Лебедев был сын самой близкой приятельницы моей матушки и давал мне уроки, будучи учеником гимназии, когда я мальчиком лет 9 был в приготовительном пансионе его матери, Марии Алексеевны Лебедевой, собственно предназначенном только для девочек, между которыми я составлял привилегированное исключение. Когда я постучался к нему в Дурновском переулке, он уже был кандидат Московского университета и магистрант по истории, любимец профессора Погодина, который пользовался тогда известностью как ученый и литератор. Рекомендуя меня Погодину, Лебедев мог обеспечить и облегчить мое вступление в университет влиянием такого авторитетного профессора. Но мои волнения и ожидания были напрасны. Лебедев, точно, жил у Протасовых, но вместе с ними уехал в деревню, а вернется в Москву не раньше сентября, т. е. когда уже будут покончены вступительные экзамены в университет и когда решится моя судьба. Однако мой талисман, как увидите, оказал свое спасительное действие, и влияние Лебедева, хотя и заочное и без его ведома, и совершенно случайно, дало самый благоприятный исход всем моим заботам и тревожениям.

Очень скоро и удачно мой милый товарищ нашел квартиру, во всех отношениях для нас удобную и удовлетворительную, а главное вблизи от университета, именно на Арбате, не доходя до Николая Явленного, наискосок против церкви, между Афанасьевским и Староконюшенным переулками. Дом этот существует и теперь – и носит имя того же хозяина: Ариоли, – одноэтажный, с мезонином. Наша квартира была не в этом доме, а на дворе в двухэтажном каменном флигеле, который и до сих пор прямо в глубине двора виднеется с улицы из ворот. Наняли мы себе помещение в квартире сапожника, во втором этаже, куда ведет прямая лестница с навесом. В нижнем этаже была мастерская сапожника и жили его мастера. Наш хозяин и его жена были еще очень молодые люди. Хозяйка, Анна Андреевна, очень заботилась о нас обоих, кормила досыта, и до сих пор я не забыл ее вкусную стряпню. Хозяина не помню как звали, Кузьмою или Кузьмичом. У них было двое маленьких детей, сын и дочь. Помню, мы ими забавлялись, играли с ними, отдыхая от утомительного долбления, приготавливаясь к экзамену. Впоследствии, лет через 20 с лишком, дошли до меня верные сведения, что мальчик, с которым мы играли, вырос здоровенным и ловким акробатом, напяливал на себя в обтяжку трико, искусно плясал на канате, перекидывая из одной руки в другую тяжелые гири. Девочка превратилась в балаганную примадонну и отличалась

звонким голосом в пении. Все это я узнал от их матери, которая лет 25 тому назад, когда я был уже женатым профессором, иногда заходила к нам, и мы вместе с ней вспоминали о том, как она нас с Даниловым угощала, лелеяла и покоила. Что касается до ее мужа, то и он тогда еще здравствовал, но увлекся артистическою карьерою своих детей; бросил ремесло сапожника, обеднел и пристроился к театру в качестве барышника, предлагающего театральные билеты то у Большого, то у Малого театра, где я несколько раз сряду и встречался с ним как со старым знакомым...

Сколько возможно, я успокоился, углубившись в приготовление к экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердце, а тревожиться было от чего: во-первых, как раз с 1834 г. были назначены приемные экзамены строгие, и их требованиям не могли удовлетворить мои познания, полученные в пензенской 4-классной гимназии, а во-вторых. – и это самое главное, – для меня настоятельно необходимо было выдержать экзамен не для того, чтобы только поступить в университет, а чтобы обеспечить самое свое существование, т. е. быть принятым в число казеннокоштных студентов, и притом как можно скорее. Не выдержи я экзамена, мне пришлось бы в Москве помереть с голоду, а о возвращении в Пензу нечего было и думать без копейки в кармане. В наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнациями, теперешнему 8 рублей с копейками; этого едва хватало на два месяца за квартиру со столом. Экзамен был для меня только средством для достижения этой цели, и грозная мысль о существовании заслоняла в моих думах заботы об экзамене. Это было для меня какое-то смутное время, и я решительно ничего не помню, как я пришел в первый раз в стены университета и к кому явился подать просьбу о допущении меня к экзамену, и как потом справлялся, в какие дни и часы будет он назначен, и таким образом, будто проснувшись от тяжелого сна, я вдруг очутился на первом экзамене в большой аудитории, наполненной толпою незнакомых мне юношей.

Этой аудиториию была тогда в старом здании университета та большая библиотечная зала, в которой десятки лет происходили публичные заседания Общества Любителей Российской словесности. Экзаменующиеся разместились по лавкам, расставленным в несколько рядов против окон, а впереди на пустом пространстве стояло четыре или пять столиков в расстоянии один от другого, и за каждым по экзаменатору; они сидели задом к окнам.

Решительно не помню, с какого предмета я начал свой экзамен и как я продолжал его и довел до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и как я отвечал. Все это осталось в моей памяти какими-то темными пятнами, из-за которых ярко выступает одно великое для меня событие, которое, как я глубоко убежден, решило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мне во всех подробностях, как я стою у столика, а передо мною сидит профессор богословия Петр Матвеевич Терновский, с окладистой бородою и строгими взорами – он казался мне тогда таким величественным и недоступным – и слушает, как я ему рассказываю довольно подробно какое-то событие из священной истории. В это самое время подходит к нему молодой человек лет 30-ти в форменном фраке, остановился, посмотрел на меня и стал слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взгляд точно приласкал меня, воодушевил, и я продолжал рассказывать с такой искренностью, с таким убеждением, которыми я будто хотел ответить на дружеское приветствие старого знакомого. Когда я кончил, молодой человек спросил меня, откуда я родом и где учился. Отвечая ему, я назвал своих учителей и между прочими упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве. Мне показалось, что его взгляд вдруг просветлел и легкая улыбка мелькнула по чертам лица. Он отвечал, что Кастора Никифоровича хорошо знает, и своим душевным голосом сказал мне: «Если что вам понадобится, приходите ко мне». Когда я с радостью возвратился на скамейку к товарищам, мне сказали, что я говорил с Михаилом Петровичем Погодиным.

Да. это был первый луч радости, осветивший меня по приезде моем в Москву.

При содействии Михаила Петровича, я благополучно выдержал экзамен, а в сентябре, при его же содействии, был принят в число казеннокоштных студентов.

II

Общежитие наше называлось не бурсою, как принято в семинариях, и не институтом, как были тогда дворянский и педагогический институты, а просто казенными номерами. Помещалось в них по комплекту полтора человека, и именно сто студентов медицинского факультета и пятьдесят философского, разделявшегося тогда на два отделения – на словесное и физико-математическое. Номеров было около пятнадцати, одни: подряд, для медиков, а другие, тоже подряд, для остальных пятидесяти студентов.

Наше общежитие занимало весь верхний этаж так называемого старого здания московского университета, в отличие от нового, в котором теперь читаются лекции, и которое тогда еще не было готово. Лекции читались в том же старом здании под нашими номерами, и только с 1835 г. были переведены они в новое.

К нам навстречу было два входа: один с парадного крыльца, через обширные сени, которыми в последнее время входили в университетскую библиотеку, а другой – со стороны заднего двора, с правого угла здания.

В номерах мы проводили весь день и вечер до 11 часов, а спать уходили в дортуары, которые были значительно больше наших номеров и находились в правом крыле университетского здания, если смотреть со стороны Моховой. Номера и спальни размещались по обе стороны коридора, который тянулся по всему зданию от левого крыла, выходившего на Никитскую, и до правого. Между дортуарами и номерами была большая зала, в которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стен ее стояли сплошные гардеробные шкафы с нашим платьем и бельем, а посередине – две громадные посуды. На каждой в виде огромного самовара или паровика резервуар для воды, которую умывающийся добывал, поднимая и спуская вложенный в отверстие ключ. Таких ключей в посудине было не менее десяти, так что в самое короткое время успевали умыться все полтора студента. Здесь же цирюльники брили усы и бороду более пожилым из нас, или, точнее, более совершеннолетним, на которых, озираясь назад от той машины во время умыванья, мы взглядывали с уважением и особенно, когда бреемый вскрикивал и давал пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо в моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, так как подрядчик-цирюльник обыкновенно командировал к нам неумелых мальчишек, чтобы напрактиковать их в бритье.

Номер, в котором я жил в течение всех четырех лет университетского курса, занимал задний угол здания с окнами на Никитскую и на задний двор университета, где и теперь еще находится сад, в котором мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейках, читали книги или заучивали свои лекции.

Пить чай, обедать и ужинать мы спускались в нижний этаж, в громадную залу, в которой за столами, расставленными в два ряда, могли свободно разместиться мы все в числе полтора человека.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что в том же верхнем этаже, при наших номерах, находились еще две комнаты, одна побольше, для нашей библиотеки, так сказать, фундаментальной, с книгами более дорогими и многотомными, а другая поменьше, с одним окном, выходящим на задний двор с садом – для карцера. С тех пор, как явился к нам попечителем граф Сергей Григорьевич Строганов в 1835 г., вместе с инспектором Платоном Степановичем Нахимовым, комнатка эта навсегда оставалась пустою. Но в первый год моего студенчества, еще в попечительство князя Сергея Михайловича Голицына и его помощника Дмитрия Павловича Голохвастова, в ней приключилась великая беда.

Карцер помещался как раз над большою аудиториею первого курса, находящеюся под упомянутою выше библиотечною залою, с окнами также на задний двор. Дело было осенью. Лекцию читал Степан Петрович Шевырев, на кафедре, стоящей к стене между окнами. Мы с своих лавок слушали и смотрели на профессора и в окно. Вдруг направо за окном мгновенно пролетела какая-то темная, длинная масса и вместе с тем раздался страшный, раздражающий душу вопль. Мы все повскакали со скамеек. Степан Петрович опрометью бросился с кафедры, и все мы вместе с профессором стремглав ринулись из аудитории на заднее крыльцо (дверь на него из больших сеней теперь уже заделана). Налево от него, на каменном помосте лежал ничком человек в солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человека три из университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Он был уже мертв, с окровавленным и изуродованным лицом. Это был казеннокоштный студент, накануне посаженный в карцер за то, что был мертвецки пьян, а на другой день в 12 часов дня бросился из окна, как и почему осталось неизвестным. Тотчас же вслед за этой катастрофой было приказано в это окно вставить железную решетку.

Живя в своих номерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему удовольствию завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножиком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире. В номере помещалось столько студентов, чтобы им было не тесно. У каждого был свой столик (конторки были заведены уже после). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать, расставив локти; под доскою был выдвижной ящик для тетрадей, писем и всякой мелочи, а нижнее пространство с створчатыми дверцами было перегороджено полкою для книг; можно было бы класть туда что-нибудь и съестное или сласти, но этого не было у нас в обычае и мы даже гнушались такого филистерского хозяйства. Если случалось что купить съестного, мы предпочитали истреблять тут же или на улице. В нашем номере был только один запасливый студент, из математиков. Он как-то ухищрялся экономить свои сальные свечи, и, таким образом, держал в своем столике всегда порядочный их запас и ссужал того из нас, у кого не хватало свечи.

Столики были расставлены аршина на два с половиною друг от друга вдоль стен, но так, чтобы садиться лицом к окну, а спиною ко входной двери, ведущей в коридор. Вдоль глухой стены помещался широкий и очень длинный диван с подушкой, обтянутой сафьяном, так чтобы двое могли улечься врастяжку головами врознь, не толкая друг друга ногами. Над диваном висело большое зеркало. Впрочем, не помню, чтобы кто-нибудь из нас интересовался своей личностью и любовался на себя в зеркало, кроме одного. Это был самый неуклюжий- и безобразный из нас, колченогий, весь перекосился, с бледным рябым лицом, с бесцветными, посоловелыми глазами, с такими же бесцветными, белесоватыми бровями и такими же волосами, которые топырились дыбом, с широким носом и толстыми губами на продолговатом лице. Мы его звали Квазимодо, потому что были уже знакомы тогда с романом Гюго. Это был некто Шнейдер, кончивший курс в так называвшемся тогда холерном заведении, — т. е. для сирот, родители которых померли холерою в 1830 году. Здание, в котором помещалось это учебное заведение, впоследствии было переделано и дополнено новыми корпусами для военного училища, находящегося на углу Знаменки и Пречистенского бульвара. Как только заковыляет Шнейдер по номеру, уж непременно остановится перед зеркалом и внимательно посмотрится в него, устраивая себе умильные взоры и привлекательные выражения.

В помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя водворить надлежащую тишину

и спокойствие. У нас в номере не выпадало ни одной минуты, в которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и шум. Кто шагает взад и вперед по всему номеру, кто бранится с своим соседом, а то музыкант пилит на скрипке или дудит на флейте. Привычка – вторая натура, и каждый из нас, не обращая внимания на оглушительную атмосферу, усердно читал свою книгу или писал сочинение. Так привыкают к мельничному грохоту, и самая тишина в природе, по учению древних философов, есть не что иное, как сладостная гармония бесконечно разнообразных звуков. Я не отвыв и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкутся.

Для сношений с начальством по нуждам товарищей и для каких-либо экстренных случаев в каждом номере выбирался один из студентов, который назывался старшим. Он же призывался к ответу и за беспорядок или шалость, выходящие из пределов дозволенного. Последние два года до окончания курса старшим студентом был назначен я.

Ближайшим начальством нашим был дежурный субинспектор. Тут же из коридора был для него небольшой кабинет, нечто вроде канцелярии, так что во всякое время каждый студент мог обратиться к нему с своим делом.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплине. Мы вставали в семь часов утра. В восемь пили в столовой чай с булками, а в девять отправлялись на лекции, возвращались в два часа, и в половине третьего обедали, а в восемь ужинали, в одиннадцать ложились спать. Кто не обедал или не ужинал дома, должен был предварительно уведомить об этом дежурного субинспектора, а также испросить у него разрешение переночевать у родных или знакомых с сообщением адреса, у кого именно.

Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу, но говяжьи котлеты казались нам сомнительного достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкой с корицей, гвоздикой и лавровым листом. Из-за этих котлет случались иногда за обедом истории, в которых действующими лицами всегда были медики. Дело начиналось глухим шумом; дежурный субинспектор подходит и спрашивает, что там такое; ему жалуются на эконома, что он кормит нас падалью. Обвиняемый является на суд, и начинается расправа, которая обыкновенно ни к чему не приводила. Хорошо помню эти истории, потому что и мне, и многим другим из нас они очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочем, эти мелочи заслоняются передо мною одним тяжелым воспоминанием, которое соединено со стенами нашей столовой. Был один медик уже последнего курса, можно сказать пожилой в сравнении с нами, словесниками, среднего роста, с одутлым лицом и густыми рыжеватыми бакенбардами, даже немножко лысый. Фамилии его не припомню. Приходим мы обедать, и только что расселись по своим местам, – на пустом пространстве между столами появилась фигура в солдатской шинели, и медленными шагами, понуриив голову, стала приближаться. Это был тот самый студент. Мы были взволнованы и потрясены неожиданным впечатлением жалости и горя, потому что хорошо понимали весь ужас этого шутовского маскарада. Медленно и тихо прошел он далее и сел у окна за маленьким столиком, назначенным для его обеда.

За большие проступки наказывали тогда студентов солдатчиною. На первый раз, в виде угрозы и для острастки другим, виновный только облакался вместо вицмундира в солдатскую сермягу и как бы выставлялся на позор; если же потом снова провинится, ему брили лоб. Само собою разумеется, рассказанный случай мог произойти только в первый год моего пребывания в университете при князе Сергии Михайловиче Голицыне, который был попечителем только для парада; всеми же делами по управлению округа заведовал Дмитрий Павлович Голохвастов. Тогда зачастую слышалась угроза солдатчиною, и спустя много лет после того мерещилось мне иногда во сне, что мне бреют лоб, и я надеваю на себя солдатскую амуницию. Слава Богу, что на следующий год явился к нам граф Сергей Григорьевич Стро-

ганов и привез с собою нашего милого и дорогого инспектора Платона Степановича Нахимова. С тех пор страхи и ужасы прекратились, и наступило для студентов счастливое время.

Описывая топографию нашего общежития, я должен присовокупить, что целую половину дня, свободную от лекций, мы проводили не в номерах, а в трактире. Он назывался «Железным», потому что помещался над лавками, в которых и теперь торгуют железом — насупротив Александровского сада, где он оканчивается углом к Иверской. Содержал его купец Печкин. Для нас, студентов, была особая комната, непроходная, с выходом в большую залу с органом, или музыкальной машиной. Не знаю, когда и как студенты завладели этой комнатой, но в нее никто из посторонних к нам не заходил; а если, случайно, кто и попал из чужих, когда комната была пуста, немедленно удалялся в залу. Вероятно, мы обязаны были снисходительному распоряжению самого Печкина, который таким образом был по времени первым из купечества покровителем студентов и, так сказать, учредителем студенческого общежития. В той комнате мы читали книги и журналы, готовились к экзамену, даже писали сочинения, болтали и веселились, и особенно наслаждались музыкою «машины», а собственно из трактирного продовольствия пользовались только чаем, не имея средств позволить себе какую-нибудь другую роскошь. Впрочем, когда мы были при деньгах, устраивали себе пиршество: спрашивали порции две или три, разделяя их между собою по частям.

Особенную привлекательность имел для нас трактир потому, что там мы чувствовали себя совсем дома, независимыми от казеннокоштной дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; в здании же университета это удовольствие нам строго воспрещалось. Чтобы соблюдать экономию, мы приносили в трактир свой табак, покупая его в лавочке, и то не всегда целой четверткой, а только ее половиною, отрезанною от пакета. И чай пили экономно: на троих, даже на четверых и пятерых спрашивали только три пары чаю, т. е. шесть кусков сахара, и всегда пили вприкуску несчетное количество чашек, и потому с искусным расчетом умели подбавлять кипяток из большого чайника в маленький с щепоткою чая. С того далекого времени и до сих пор я не иначе пью чай, как вприкуску, только не такой жиденький. Разумеется, многие из нас были без копейки в кармане, а все же каждый день ходили в трактир и пользовались питьем чая и куреньем. Всегда у кого-нибудь из нас оказывался пятиалтынный на три пары. Сверх того, нам поверяли и в долг.

Чувство благодарности заявляет меня сказать, что кредитором нашим в этом случае был не сам Печкин и не его приказчик Гурин, заведовавший этим трактиром, а просто-напросто половой нашей трактирной комнаты, по имени Арсений (он называл себя Арсентием, и мы его звали так же, ярославский крестьянин лет тридцати пяти, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, подстриженными в скобку, и с окладистой бородой того же цвета, с выражением лица добрым и приветливым. Он был грамотный, интересовался журналами, какие выписывались в трактире, и читал в них не только повести и романы, но даже и критики — и особенно пресловутого барона Брамбеуса. И жена Арсентия, в деревне, тоже была грамотна и учила своих малых детей читать и писать. Арсентий был нам и покорный слуга, и усердный дядька, вроде тех, какие еще водились тогда в помещичьих семьях. Только что мы появимся, тотчас же бежит он за непременно тремя парами и вслед за тем непременно преподнесет номер журнала, в котором вчера еще не была дочитана нами какая-нибудь статья; а если вышел новый номер, тащит его нам прежде всех других посетителей трактира и преподносит, весело осклабляясь.

В финансовом отношении значительно отличались казеннокоштные студенты двух младших курсов от старших: первые пробавлялись немногими рублями, изредка получаемыми от родителей или родственников, а последние могли добывать очень крупные, в наших глазах, суммы от уроков; медики же, кроме того, промышляли и практикою.

Кто бы из товарищей по номеру ни получил денег, это событие доставляло общую радость всем нам, и особенно ближайшему другу счастливому получателя. И вот начинается

забавная и трогательная процедура получения присланной суммы. Из университета надо идти на Мясницкую в почтамт с повесткою; но ведь там толкотня, народу гибель, как раз вытащат из кармана драгоценный конверт. Надо идти вдвоем, и получатель, под охраною своего товарища, выносит из толпы пять или много десять рублей ассигнациями. Теперь новая забота: ассигнация слишком крупна для издержек, надо ее теперь же разменять. Для этой цели мы обыкновенно заходили в трактир, что наискосок против почтамта, и там уже не требовали обычных трех пар, а съедали целую порцию чего-нибудь на целый двугривенный или на четвертак.

Рассказываю все эти мелочи для того, чтобы дать вам понятие, как лишения и нужда, давая цену избытку, воспитывали в нас способность умеючи распоряжаться своими средствами, отдавать в них себе отчет и, довольствуясь малым, быть счастливыми.

Впоследствии, с третьего и даже со второго курса мы, как сказано, стали богатеть и могли уже позволять себе некоторую роскошь, а именно, соединяя приятное с полезным, иной раз, как говорится, покутить не в одиночку, а всегда в товариществе, не забывая при этом излишек суммы употребить на приобретение любимых книг; так напр., будучи уже на втором курсе, я купил себе на французском языке «Эрнани» Виктора Гюго и на немецком «Фауста» Гёте.

Чтобы дать вам некоторое понятие о наших пиршествах и забавах, приведу два-три примера.

Пиршества, происходившие обыкновенно по ночам, разумеется, в известной уже вам комнате «Железного» трактира, состояли в умеренном количестве блюд, которые мы записывали пивом и мадерою или лиссабонским. Пили немного, но с непривычки чувствовали себя совершенно пьяными, может быть, по юношеской живости сочувствия к тем из нас, которые действительно хмелели от водки. Нас опьяняло веселье, болтовня, шум и хохот, опьянял нас разгул, и мы выносили его вместе с собой на улицу, не хотелось с ним расставаться и идти домой, чтобы заспать его на казенной подушке; надобно дать ему хоть немножко простору на свежем воздухе, вдоль «по улице мостовой». Разгоряченным головам нужно было чего-нибудь особенного, небывалого, надо, напр., прокатиться на дрожках, но не так, как катаются люди, а на свой особенный манер. И все мы, человек пять или шесть, должны разместиться порознь, и каждый садится верхом на лошадь, ноги ставит вместо стремян на оглобли, а чтобы не свалиться, руками ухватится за дугу, а сам извозчик сидит на месте седока и правит лошадей. И вот, при свете луны вдоль Александровского сада плетется гуськом небывалая процессия, оглашаемая хохотом и криками. Это, по-нашему, была пародия на «Лесного Царя» Гёте и на «Светлану» Жуковского.

Другой раз мы охмелели в воинственном расположении духа; мы были в мундирах со шпагою и с треуголкой на голове. Нам пришла счастливая мысль обревизовать будочников, исправно ли они сторожат при своих будках, и кто из них не сделает нам чести под козырек, подобающую нашему офицерскому чину, того колотить. Не знаю, сколько мы совершили опытов такого дозора, хорошо помню только вот что: каждый раз, как только кто из нас обидит будочника, тотчас же сунет ему в руку гривенник или пятиалтынный сердобольный Каэтан Андреевич Коссович, который тогда находился в числе нас. Разные курьезные подробности о нем прочтете в следующей главе.

Самый курьезный образчик наших кутежей я приберегу к концу. Дело было зимою, в Николин день. Мы были при деньгах и вечером собрались в «Железном» повеселиться уже под моим председательством, так как я был тогда старшим нашего номера. Было нас человек пять, шесть, между прочими и два брата Езерские, Игнатий и Феликс, поляки, из люблинской гимназии; старший брат, Игнатий, отличался веселым нравом и находчивостью. Решительно не помню, как мы пировали и как сошли вниз по лестнице, чтобы отправиться домой.

Настоящая история начинается с этого пункта. Были ли мы действительно пьяны, или воображали себя пьяными, только мы чувствовали, что не можем ступить шагу по оледеневшему тротуару. На улице, в глухую ночь, ни одного извозчика. Кому-то из нас пришла счастливая мысль перебраться с грехом пополам, хоть ползком, на ту сторону мостовой к угольным воротам Александровского сада; там, по рыхлому снегу можно как-нибудь доплестись до ворот у Манежа, а оттуда рукой подать – университет. Но и по расчищенной дорожке сада было скользко, и мы догадались свернуть в сторону и направились по сугробам, погружая ноги в снег по самые колени. Такой способ переправы оказался очень удобен; он давал надлежащий устой для поддержки всего корпуса, а если иной раз и свалишься, то на рыхлую постель снега. Направлялись мы, хорошо помню, от одного дерева к другому, цепляясь за сучья и стволы. Переправа совершалась, вероятно, долго. Нам было весело; мы кричали и пели песни. Затем уж не помню, как попали мы на передний двор университета, выходящий на Моховую. Нет сомнения, что мы во время своего странствования по снегам успели настолько отрезвиться, что могли бы хоть ползком взобраться по лестнице главного входа; но веселье, хохот, юный разгул до того нас опьянили, что нам казалось совершенно невозможным попасть наверх. Иные из нас, как сейчас вижу, карабкались даже по стене, чтобы вместо ступенек подняться таким образом до верхней площадки. Тогда, в качестве старшего между своими товарищами, я вменил себе в обязанность позаботиться о водворении их на место жительства. Посередине двора, перед главным входом, был высокий столб; на нем под навесом висел колокол, а от его языка вниз спускалась веревочка. Я добрался до столба и ударил в набат. Благоразумная мера оказалась действительно. Явилось несколько солдат из наших служителей, помогли нам взобраться по лестницам и благополучно уложили нас спать.

На другой день поутру, только что мы проснулись, началась расправа. Платон Степанович нас требует к себе каждого поодиночке, только братьев Езерских обоих вместе. Несмотря на суровый вид и резкость голоса, во всем его существе чувствовалось мне трогательное беспокойство, – точно он потерял какую дорогую вещь или очень нужную официальную бумагу и не может найти, чего ищет. До сих пор он считал меня самым примерным по благонравию студентом, и вот теперь не может верить, не может понять, чтобы я так преступно провинился. Он удивляется и жалеет меня. Разумеется, я сердечно раскаивался и вышел от него со слезами на глазах.

Не знаю, какой нагоняй дал он другим. Вероятно, значительно резче, чем мне, но братья Езерские составляли исключение по своим умственным и нравственным достоинствам, и нас очень интересовало, как их примет инспектор и как будет распекать. Он продержал их долго, конечно, жалел и стыдил их столько же, как и меня, наконец они являются в номер, – Феликс солидный и спокойный, как всегда, а Игнатий прыгает, кривляется и хохочет до упаду. «Ну что? что такое?» – спрашиваем его. – «Потеха!» – кричит он, а сам хохочет, передразнивая Платона Степановича: «А уж как я на вас надеялся во всем, уж так-таки во всем ставил я вас обоих в пример всем прочим студентам из Царства Польского; как же вам не стыдно, как не грешно изменить мне, обмануть меня такую неслыханною шалостью; да ведь вы, Игнатий, и старше других, и должны держать себя рассудительнее и благоразумнее своих товарищей». – «Да ведь это самое я и чувствовал тогда, – говорю ему, – и сколько мог воздерживался; вот и брат тоже; но что же нам было делать? Между русскими товарищами мы, поляки, находились в исключительном положении, и вы, Платон Степанович, на нашем месте не отказались бы от лишнего стакана: ведь вчера были именины государя императора, все пили за его здоровье, – как же нам-то, полякам, было отказываться от такого тоста!..» – Ну, по добру по здорову, и отпустил нас: «Довольно, убирайся с своим братом! Тебя не переговоришь никогда».

По старинному обычаю Платон Степанович в разговоре с нами употреблял и «ты» и «вы», смотря по расположению духа и по тому, с кем из нас и о чем была речь.

И подумайте только, что все это творилось в царствование императора Николая Павловича, знаменитое своей строгой дисциплиной, и безнаказанно спускались такие шалости, доходившие до решительного буйства! Нас не выгоняли, не отдавали в солдаты, и за пьяную никольщину, оглашенную набатом, никто из нас и в карцере не посидел. Платон Степанович только припугнул нас графом (этим нарицательным именем называли попечителя графа Сергея Григорьевича Строганова): «Ну, а что скажет граф, когда я ему доложу? Смотрите у меня, берегитесь!» Это была его обычная фраза и самая высшая угроза.

Чтобы ориентироваться в соседстве нашего студенческого общежития, я должен несколько познакомить вас с населением всех корпусов университетской усадьбы в пределах Моховой, Никитской и Долгоруковского переулков, соединяющего эту последнюю улицу с Тверской. Платон Степанович занимал левое крыло главного корпуса, идущее по Никитской, но не все: часть его, с окнами на передний двор, отделенная коридором, служила квартирой секретарю правления Рагузину. Правое крыло, также разделенное коридором, вмещало в себе квартиры главного субинспектора Степана Ивановича Клименкова, который до Нахимова исправлял должность инспектора, синдика университетского правления Назимова и субинспектора Зайковского.

На заднем дворе длинный двухэтажный корпус, который тянется по Никитской до угольных ворот, выходящих на улицу против Никитского монастыря, был занят клинкою и так называемыми кандидатскими номерами, в которых помещались ассистенты клиники и оставляемые при университете лучшие из кончивших курс кандидатов. Тут же была и квартира университетского священника, профессора богословия Терновского.

Надобно припомнить, что так называемая клиника на углу Рождественки и Кузнецкого моста еще составляла тогда самостоятельное учреждение под названием медико-хирургической академии, куда прием студентов был значительно легче и менее разборчив, нежели в университет.

Корпус, о котором я говорю, в то время не был перегороден поперечною пристройкою, так что между ним и садом был свободный проход от главного здания в ворота на Никитскую. Нам, студентам, доставляло особенное удовольствие избирать в летнюю пору именно этот путь. В стороне корпуса, ближайшей к главному зданию, в нижнем этаже тянулась открытая галерея; по ней любила прогуливаться взад и вперед очень красивая девица, стройная, белая и румяная, с роскошными русыми косами; и тут же на балконе обыкновенно сидел старичок, ее отец. Это был муж главной акушерки, по фамилии Армфельд, которая заведывала родильным отделением клиники, помещавшемся в этой части корпуса.

Ее дочь вскоре вышла замуж за профессора политической экономии Чевилёва, который был дружен с ее братом и вместе с ним воротился из-за границы в 1835 г. Молодой Армфельд был медик и получил в Московском университете кафедру истории медицины.

Подробности эти очень живо представляются мне потому, что они неразрывно связаны в моих воспоминаниях с двумя катастрофами, разразившимися через десятки лет потом в семье обоих этих профессоров.

Несчастливая девица Армфельд, сосланная в Сибирь по суду в политическом преступлении, была дочь этого самого профессора истории медицины. Чевилёв, оставив университетскую кафедру, занял довольно видное место в петербургской администрации. В конце 50-х годов с своим семейством — у него уже был тогда и сын лет 20 — проводил он лето в Царском Селе, занимая помещение в так называемом Софийском дворце, внизу города, за громадным царскосельским прудом. Однажды ночью в квартире его произошел пожар; загорелось в тех комнатах, которые составляли его кабинет и спальню. Пожару не дали распространиться, только пострадала спальня. На постели лежал обгорелый труп Чевилёва.

По свидетельствовании оказалось, что он был предварительно полит керосином. Из кабинетного стола было похищено, не помню, десять или двадцать тысяч рублей. Следствие и суд были ведены в большом секрете. По городу ходили разные слухи, которые не хочу повторять. Что случилось с сыном Чевилёва, не имею никаких сведений. Вот такая злосчастная судьба постигла молодую особу, которая, гуляя по своей террасе, бывало, отвечала нам приветливою улыбкою, когда мы, проходя мимо, отвешивали ей усердные поклоны.

Позади сада, в котором, как сказано выше, мы гуляли и читали, между анатомическим театром и клинкою стояла деревянная башня: ее верхняя часть имела вид садовой открытой беседки с крышею на столбах, или деревянной колокольни с пролетом. На месте большого колокола в этой беседке довольно часто в летнюю пору висел с перекладкины человеческий скелет, кое-как связанный по суставам веревочками. Надобно вам знать, что в подвалах анатомического театра был склад трупов для лекций по анатомии; из них выбирался один для скелета; служители-солдаты клали его в котел, вываривали кости, и потом для просушки вывешивали в пролетах башни, где обыкновенно сушилось солдатское белье.

На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, издававшего в то время журнал «Телескоп». Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором.

Однажды вечером приходим мы в «Железный», опрометью бежит к нам Арсентий и вместо трех пар чаю подносит нам номер «Телескопа». «Вот, – говорит, – вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора». Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню и теперь из нее одну только фразу: «Россия приняла христианство из рук растленной Византии».

Дней через десять после этого у нас в номерах разнесся слух, что «Телескоп» запрещен, и что ректору и Надеждину грозит великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны, и был к ним вхож. Чтобы разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга Семеновна страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывается, жалеет Болдырева, негодует на Надеждина, называет его предателем, злодеем. Она была очень дружна с Болдыревыми, да и кроме того отличалась горячим и чувствительным до раздражения темпераментом, и теперь как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницею преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись немножко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки «Телескопа», они и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увлечением играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и процензуровал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы номер вышел в свое время; но Болдырев, увлекшись игрою, ему отказывал и прогонял его от себя. Наконец, согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, – пусть читает ее сам Надеждин, – и тут же, во время карточной игры, на ломберном столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, задира-

ное, пикантное и вообще не дозволяемое цензурою, при чтении Надеждин намеренно пропускал. Зная, с каким увлечением по вечерам играет в карты Болдырев с своими соседками, Надеждин умышленно устроил эту проделку.

Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева как дурака отрешить от службы, Надеждина как мошенника сослать из Москвы, а Чаадаева как сумасшедшего держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же Клименкова.

III

Дружеские отношения, скрепляемые общими интересами, согласием в идеях и стремлениях, взаимною симпатиею. даже самую привычную жить сообща, преимущественно ограничивались тесным кругом товарищей нашего номера. До известной степени все это несколько обуславливалось возрастом и временем совместного пребывания в номере, то есть, или четыре года целого курса, или один, два года.

При нашем поступлении в университет для философского факультета был курс трехгодичный, а для медицинского – четырехгодичный; прибавка еще года на тот и другой факультет началась именно с нас, так что в 1837 г. выпуска студентов из университета вовсе не было, и потому оба последние года мы были студентами старшими и на третьем курсе, и на четвертом.

Вступив в общежитие нашею номера, я застал нем двух студентов третьего курса, Шпака и Павловского, и нескольких второго и первого. Все они были словесного отделения, за исключением того математика, который, помните, ссужал нас свечами. Из моих близких друзей и товарищей все были словесники.

Отношения мои к двум студентам третьего курса ограничивались почтительностью с моей стороны и большею или меньшею снисходительностью с их стороны. Шпак, из варшавской гимназии, был довольно любезен со мной, говорил о своих ученых работах; я питал к нему большое уважение, узнав от него, что он переводит с латинского и польского разные исторические документы для одного русского вельможи, Муханова, находящегося в Варшаве, который издает свое сочинение о Самозванце и о Смутном времени. Другой третьекурсник, по фамилии Лавдовский, не помню хорошенько, из Вологды или Костромы, – из семинаристов и говорил на о. И по наружности, и по нраву он походил на Собакевича; я его очень уважал и побаивался, и относился к нему, как ученик гимназии к учителю. Особенно, так сказать, благоговение питал я к нему за то, что он перевел с немецкого все три тома Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзии, по указанию профессора Ивана Ивановича Давыдова, который потом и поместил этот перевод в третьем томе своего курса словесности.

Когда, по окончании курса, я поступил младшим учителем русского языка во вторую московскую гимназию, там застал Лавдовского уже старшим учителем словесности, и некоторым образом официально подпал под его начало. Моя робость перед его авторитетной суровостью не изгладилась и тогда, когда я, возвратившись через два года из Италии в Москву, в 1841 году, однажды встретился с ним на улице. «Ах, здравствуйте, – говорю я, – очень рад вас видеть». «Чему же вы радуетесь?» – спрашивает он. – «Конечно, – отвечаю ему, – нечему особенно радоваться...» Так и разошлись.

Особенно обязан я в умственном развитии и успешном занятии учебными предметами влиянию и содействию двух товарищей, которых я застал на втором курсе: оба они были поляки и оба поступили в университет из полоцкого коллегиума. Это были Класовский и Коссович.

Владислав Игнатьевич Класовский с ранней молодости получил солидное образование. Кто были его родители, я не знал, но детство свое до шести или семи лет он провел в женском монастыре у своей тетки, монахини; она была француженка и говорила с ним всегда только по-французски. – потому он отлично знал этот язык. Затем его взял к себе в мужской монастырь его дядя, который с ним говорил большею частью по-латыни, что дало ему отличную подготовку для изучения римских классиков. Последние года два обучения в полоцком коллегиуме он жил на квартире один, в одном доме с Коссовичем. Это, как мне кажется, было какое-то надворное строение очень малых размеров; внизу была квартира

Коссовиаа, выходившая в сени, и тут же из сеней была лестница на чердак, по которому надо было сделать несколько шагов, чтобы попасть в маленькую каморку, в которой приютился Класовский. Эти подробности нам пригодятся, чтобы нагляднее представить себе один курьезный случай, о котором будет сказано в своем месте.

Если в первые два года моего пребывания в университете я значительно успел во французском и латинском языках, то этим я обязан Класовскому. Не знаю почему, он особенно полюбил меня и сошелся со мной ближе, чем с кем-либо другим из русских студентов. Все, что задавалось из классиков на лекциях латинского языка, он прочитывал со мною, заставляя меня переводить и объясняя текст грамматическими и реальными комментариями. Иногда, работая над *Виргилием* или *Горацием* за своим столиком, я наталкивался на какое-нибудь затруднение и тогда перекликивался с ним через весь номер, как перевести или понять такую-то фразу, а он сидит в другом углу тоже за своим столиком и отвечает оттуда наизусть целым стихом или двумя стихами, где стоит затрудняющее меня выражение, и переводит целое место.

По-французски он читал со мной из «Германии» мадам Сталь, и весь роман Виктора Гюго «*Notre-Dame de Paris*». Во французском я успел настолько, что, будучи на втором курсе, мог уже осилить один, без помощи Класовского, «Историю цивилизации Европы» Гизо.

Сверх того, он упражнял меня в польском на чтении стихотворений *Мицкевича*. Я и до сих пор помню некоторые выученные мною тогда наизусть стихи, напр., из «Крымских сонетов» или из поэмы «Деды».

Этими уроками польского языка ограничивалась для меня тогда вся область славянских наречий, потому что этот предмет еще не введен был при нас в университетское преподавание, и только на четвертом курсе читал нам Каченовский историю славянских литератур по книге *Шафарика*.

Влияние Класовского на меня не ограничивалось обучением языков. Он любил со мною беседовать подолгу о разных интересующих меня вопросах философии, религии и так называемой морали; это бывало обыкновенно по вечерам, в сумерки, когда мы вместе с ним взад и вперед гуляли по длинному коридору нашего общежития. Он не высказывал прямо и решительно своих убеждений, но умел ловкими намеками и извилистыми путями доводить меня до того пункта, который назначал он своею целью. Его, очевидно, забавляла моя наивность, и ему было интересно производить надо мною опыты сознательного уразумения добра и зла, и он до некоторой степени успел бросить в смутное брожение моих понятий первые искры свободомыслия. Получив раннее воспитание в двух католических монастырях, мужском и женском, он был плохой католик и потому не затрагивал моего православия. Он был материалист, поскольку это было возможно в эпоху романтизма, и о высших предметах духовного мира отзывался слегка, впрочем, не оскорбляя моей религиозной совести. Как бы то ни было, но в душе моей совершился резкий переворот, которым отделяется беззаботная юность с ее безотчетными помыслами от того возраста смелых порывов мысли и неудовлетворяемых желаний, который я назвал бы периодом бури и стремления (*Sturm und Drang*), как немцы характеризуют свою литературу второй половины XVIII века.

Я был тогда уже на втором курсе. Товарищи видели мою дружбу к Класовскому; она была так сильна и постоянна, что ее не мог не заметить даже и Коссович, который по своей рассеянности не обращал внимания решительно ни на что его окружающее. Однажды, не знаю по какому поводу, он сказал мне с обычным своим добродушием: «А ты полагаешь, Класовский не верит ни в Бога, ни в черта? А я тебе скажу, что он самолично видел черта, и я был при этом свидетелем. Это было месяца за два до нашего поступления в университет; мы жили тогда в Полоцке, вместе, в одной хибаре, я внизу, а он на чердаке. Раз ночью меня разбудил страшный стук и крики, раздававшиеся сверху. Очнувшись, слышу голос Класовского. Он зовет меня, а сам причитает: «Ай, ай, дьявол, спасите меня! О, Гос-

поди, Jesus-Maria!» Я бросился к нему на чердак, и только что влез по лестнице, наткнулся на что-то мягкое и косматое. Это был козел. Я увидел из мрака темное очертание козлиной головы с рогами, которое обрисовывалось в полусвете окна из растворенной двери, а Класовский все бесновался и звал меня на помощь. Я вбежал в его комнату и насилу успокоил его. В тот день хозяин купил козла, чтобы по ночам он оберегал лошадей. Козел, на незнакомом еще ему дворе, вместо конюшни, забрел через отворенную дверь к нам в сени, а оттуда, по своей привычке лазать, попал на чердак. Теперь видишь, что Класовский верует в черта, а кто верует в чертей – верует и в ангелов».

Класовский был самого нервного темперамент и, можно сказать – женоподобного, в котором раздражительность соединяется с деликатною мягкостью. И в наружности он отличался женоподобием. По нежной, как бы прозрачной белизне лица его то и дело вспыхивал легкий румянец, при малейшем движении чувства; самые волосы его, светло-русые, очень редкие и как бы рассыпчатые, до того были мягки и нежны, как шелковые пряди, что при всяком движении головы меняли свое место и болтались, как бахрома, спускаясь на виски и на большой и широкий лоб. Эти растрепанные космы соответствовали, казалось мне, растрепанности блуждающих помыслов его горячей, беспокойной головы. Роста он был среднего, худощав, необыкновенно жив в движениях, но без всякой угловатости; вообще личность далеко не дюжинная, богатая внутренним содержанием, то неотразимо привлекающая, то вовсе неожиданно отталкивающая, именно из таких натур, которые более обречены на то, чтобы волноваться и страдать, а не радоваться и спокойно наслаждаться жизнью.

Когда я переходил со второго курса на третий, он, по выдержании экзамена на кандидата, оставил университет и отправился куда-то далеко от Москвы учителем гимназии, где и прослужил все шесть лет, обязательные для казеннокоштного студента. В течение всего этого времени я с ним не видался.

Когда, по возвращении из двухлетнего пребывания моего в Италии, я получил место учителя русской словесности в старших классах третьей московской гимназии по ее реальному отделению и жил у графа Сергея Григорьевича Строганова в доме князя Гагарина (ныне Бутурлиных) на Знаменке, против Александровского военного училища, Класовский перебрался в Москву и был назначен младшим учителем русского языка в той же гимназии. Наше положение значительно изменилось. Я возмужал, многому научился, работая самостоятельно в Неаполе и в Риме, и всего насмотрелся вдоволь; а он остался тем же, чем был, в неподвижной обстановке провинциального захолустья; он как-то сократился на мой взгляд, присмирел и глубже ушел в себя. Впрочем, потерянное равновесие прежней дружбы и товарищества, по видимости, мало изменило наши старинные отношения, которые мы все же продолжали скреплять товарищеским «ты».

Он поместился очень удобно, около самой гимназии в Варсонофьевском переулке, с Лубянки на правой стороне, в длинном, невысоком, двухэтажном каменном доме, который весь был занят меблированными комнатами, разделенными на отдельные номера, с большою общею залою в верхнем этаже, для всех живущих по номерам. Это было нечто вроде так называемых пансионов. Тут квартировали учителя разных учебных заведений, гувернантки и учительницы, а также окончившие курс кандидаты и действительные студенты. Дамы жили в верхнем этаже, мужчины – в нижнем. Все они в общую залу собирались обедать, а по вечерам отдохнуть от своих дневных трудов и занятий, поболтать между собою, веселиться, а иногда и танцевать, так как тут было и фортепиано. Между живущими были артисты и артистки. Ежедневно придавали они этим вечерним собраниям разнообразие и новый интерес пением и игрою на инструменте. И мне случалось бывать на этих танцевальных и музыкальных вечерах, когда я навещал Класовского. В собраниях этих слышались звуки более иностранных языков: немецкого, французского, польского, нежели русского.

Так продолжалось никак не больше полугода. Класовский будто скучал, стал молчаливее и раздражительнее. Его уныние я объяснял себе тем, что он недоволен своим положением младшего учителя в гимназии.

Однажды, очень рано поутру, меня разбудил и переполошил мой товарищ по университету, Каменский, который квартировал в том же пансионе. Он бросился ко мне поскорее сообщить о великой беде, постигшей Класовского, с тем, чтобы я до девяти часов утра успел передать о ней графу и таким образом предупредить официальное донесение от обер-полицеймейстера или от директора гимназии. Вот что случилось с Класовским. Он влюбился в одну из девиц пансиона; осталось неизвестным, пользовался ли он ее взаимностью. Равнодушие ли этой особы к нему или ревность, или что другое довело его до отчаянного поступка, только в эту ночь он решился застрелиться. Каменский, сообщая мне о катастрофе, выразил свое недоумение, как соседи Класовского по обеим сторонам его номера могли к нему ворваться в самый момент стрельбы из пистолета и как спасли его от самоубийства: дал ли пистолет осечку или не попал в цель, но во всяком случае по следствию оказалось, что дверь от Класовского в коридор была не заперта, а только изнутри загорожена мебелью.

В половине девятого, когда граф имел обыкновение пить кофей, я к нему явился и передал сообщенное мне Каменским. «Эх! Все одно и то же, обыкновенная история; вечно польские фокусы!» – сказал граф и поручил мне позвать к нему самого Класовского. Я узнал потом, что граф обошелся с ним снисходительно и тогда же порешил поместить его учителем детей графа Чернышова-Кругликова, отправлявшегося вскоре за границу на два года.

Класовский жил тогда долго в Италии и давал мне о себе весть подарками; так, он прислал мне из Рима очень хорошенький пресс-папье из черного мрамора с мозаическим изображением Св. Петра, с Ватиканом и площадью. Эта вещица как дорогое воспоминание до сих пор у меня в кабинете на столе. Кроме того, оттуда же он внес в мое собрание гравюр очень любопытную итальянскую карикатуру на характеры и нравы XVIII века.

По возвращении в Россию, он основался в Петербурге; вскоре издал очень дельное описание Помпеи с рисунками и небольшую монографию о характерах и физиономии. Тогда же получил место учителя в Пажеском корпусе, а вслед за тем в продолжение нескольких лет был преподавателем русского языка и словесности детям великой княгини Марии Николаевны; в конце пятидесятих годов, он преподавал те же предметы и покойному цесаревичу Николаю Александровичу в объеме гимназического курса.

В это время я был вызван в Петербург Яковом Ивановичем Ростовцевым, по поручению которого я тогда изготовлял мою «Историческую Грамматику» и большую «Историческую Хрестоматию» для пособия учителям военно-учебных заведений и, разумеется, навещал Класовского. Он только что женился на миленькой немочке, белой и румяной толстушке. Она показалась мне очень доброй и изящно-простой в обращении. В ее отсутствие я передал Класовскому приятное впечатление, произведенное на меня его женою; он мне на это ответил, что главное ее достоинство состоит в том, что у нее нет ни души родных; был отец, да и тот, возвращаясь однажды со службы, пропал без вести.

Разговаривая с ним о русской литературе, мы коснулись XVII века, когда она сильно подчинена была польскому влиянию. Я ему, между прочим, сказал; «Вот вам бы, Владислав Игнатьевич, заняться этим периодом; вам, конечно, коротко знакома польская литература того времени». Мы в то время уже друг другу «выкали», называя друг друга по имени и отчеству. «Почему это вы так думаете? – отвечал он вопросом. – Вы это сделаете гораздо лучше моего, я и по-польски ничего не понимаю. Да вот еще что я хотел вам заметить: вы забыли, как меня зовут. Ведь я не Владислав, а Владимир». – «Вот тебе на!» – подумал я. С тех пор я не видался с ним до декабря 1859 года, когда я вызван был в Петербург преподавать историю русской литературы покойному цесаревичу Николаю Александровичу.

Разумеется, я не замедлил обратиться к Класовскому за получением сведений о степени познаний цесаревича в русском языке и словесности, для того чтобы в строгой последовательности завершить гимназический курс, пройденный его высочеством, своими лекциями в подлежащем объеме университетского преподавания.

В течение всего 1860 года я виделся довольно часто и с Класовским, и с его женою, принимал участие в их семейных интересах, а через несколько лет по возвращении в Москву я получил письменное известие от жены Класовского о его смерти, с приложением выдержки из газет, где помещено надгробное слово его духовника. В этом слове в умиленных выражениях было высказано, каким примерным, глубоко верующим христианином окончил он свою жизнь. Мир его праху и треволненной душе!

Теперь пора воротиться нам к нашему студенческому общежитию. Каэтан Андреевич Коссович представлял собою самую резкую противоположность Класовскому. Это была натура цельная, наивная, или, как говорится, непосредственная, в себе самой сосредоточенная, всем довольная, но без малейшей тени личного эгоизма, натура счастливая, наделенная благодатной способностью не ведать зла, не понимать возможности его существования. Константина Дмитриевича Кавелина, бывшего профессора Московского университета в сороковых годах, товарищи называли «предвечным младенцем»: этот почетный титул с большим еще правом мог бы носить Каэтан Андреевич.

Он был великий чудака. Большого оригинала мне никогда не случалось знать. В Петербурге слыл за курьезного оригинала Костомаров, но его чудачество было более или менее сознательное, и мне самому случалось лично от него слышать о его собственных оригинальных выходках. Коссович был вполне бессознательный чудака. Все в нем было не так, как у других. Он не обращал никакого внимания на мелочи обыденной жизни. Он их не презирал, но они сами проходили мимо него, не нарушая его, так сказать, олимпийского самодовольствия: этот эпитет, впрочем, и не будет при его особе фразой, потому что в то время он постоянно витал на высотах Олимпа, погруженный всецело в чтение римских и греческих классиков. Он углубился в это дело без всякого предварительного плана, без всякого обдуманного намерения. Удовольствие, беседовать с классиками, проводить в их сообществе целые дни само собою, без его личной воли, увлекало его, и он, прочитав одного классика, тотчас же брал другого, и таким образом с беспримерной неутомимостью перечитал их всех до одного по изданиям, какие мог он найти в нашей университетской библиотеке. Когда я поступил в университет, он доканчивал чтение латинских авторов, и все остальное время пребывания в университете употребил на чтение греческих.

Сосредоточенность Коссовича была изумительна. Книга всегда у него в руках: то сидит он за своим столиком, согнувшись над книгою, а сам покачивается, то вдруг вскочит, но не отнимая глаз от читаемой страницы, ходит взад и вперед по номеру с своей книгой, то медленно, чуть шагая, то остановится, то вдруг побежит, натываясь на проходящих. Особенно забавно было смотреть на него, когда он, бывало, носился взад и вперед с каким-нибудь огромным фолиантом, иной раз весом до полупуда. Однажды случился вот какой курьез. С таким фолиантом он поместился на нашем большом диване, положил его вместо подушки, а сам лег ничком и читает, ногами подрагивает и весь как бы сотрясается и бормочет: должно быть, этими судорогами он отбивал себе такт, читая стихи. Вместе с ним сотрясался и фолиант и понемножку скатывался с дивана, а Коссович, ухватившись за него обеими руками, продолжал чтение: но фолиант вдруг скатился на пол, а вместе с ним скатился и сам Коссович, безостановочно продолжая свое чтение и растянувшись тоже на полу.

Я с ним был дружен и он любил меня, впрочем, кого же он мог не любить? — но я принадлежал к тому тесному кружку товарищей, в удовольствиях которого он принимал участие, как я уже раз упомянул вам об этом. В моих занятиях он принес мне не малую пользу, объясняя затруднения при чтении греческих классиков. Сверх того, впоследствии,

когда оба мы уже вышли из университета, в начале сороковых годов, он же учил меня по-санскритски. Тогда этот язык сделался ею главной специальностью.

Будучи профессором этого предмета в Петербургском университете, он с обычным своим увлечением предавался изучению и других восточных языков, между прочим, и арабского, и женился на аравитянке в тех видах, чтобы иметь случай постоянно говорить с нею на ее родном языке. Я лично не знал ее и передаю, что мне рассказывали. *Se non e vero, e ben trovato*. (Если это и не правда, то хорошо придумано (ит.).)

Из моих товарищей по первому курсу расскажу вам только о двоих: о Новаке, который уже года за два до меня сидел в университете, и о Н. В. Еленеве. поступившем в одно время со мною.

Новак (по имени никогда его не называли, – так он и слыл у всех только Новаком) был, по его словам, венгерец, учился в Воспитательном доме, в мужском институте, теперь давно уже закрытом. Росту был маленького, нрава спокойного и веселого, большой забавник и балагур и вместе человек положительный, равнодушный к так называемому миру идей; не придавал большой цены познаниям и наукам и с снисходительным презрением относился к тем, кто тратит время на такие пустяки. Понятно, что мы были ему не под пару, и он не любил с нами водиться. Он сильно испивал и выбрал себе товарища по душе между медиками из семинаристов, по фамилии Холуйского. Это был парень лет двадцати пяти, долговязый и сухопарый. Худоба этого верзилы особенно бросалась в глаза благодаря его чрезмерной высоте, которая на глазомер увеличивалась еще и тем, что мы его постоянно видели под пару с маленьким Новаком. казавшимся тогда уже совсем карликом. Когда, по окончании курса. Холуйский был командирован в качестве военного врача куда-то далеко на Кавказ, о нем ходила у нас легенда, будто он имел обычай, вместо лошади, выезжать из крепости не иначе, как на верблюде верхом, чтобы не волоклись по земле его длинные ноги.

Оба они брезговали всякими мадерами и сотернами и кроме водки ничего не пили. Бывало, когда нам случалось вместе с ними выходить из университета, направляясь в «Железный» трактир, оба они оставляли нас на полудороге, повертывая в находившийся по пути кабак или полпивную. Странное дело: мы видели, что это вовсе не хорошо, однако, как будто им и завидовали, что они могут делать то, чего мы опасались, и даже относились как бы с уважением к их молодечеству.

Платон Степанович хорошо знал, что Новак порядочно испивает, и часто журил его, но относился к нему милостиво и даже любил его, т. е. уж очень жалел и старался его исправить. Ему нравился веселый и разбитной нрав Новака и искреннее, как ему казалось, даже слезное раскаяние и обещание исправиться. Призывая его к себе, Платон Степанович встречал его словами: «Опять пьян, смотри у меня!» (Он всегда говорил Новаку «ты»), – «Никак нет-с, Платон Степанович, ни росинки во рту не было». – «Ну-ка, подойди, дыхни на меня». И затем начинается длинная процедура дыхания или выдыхания. Новак никак не может широко раскрыть свой рот, а если и раскроет, не дышит как следует, явственно, – точно сказочный дурак, которого яга-баба сажает на лопату, чтобы бросить в пылающую печь, а он не умеет на лопате усесться. К таким рассказам о себе Новак обыкновенно прибавлял: «Этот опыт проделывал со мною Платон Степанович всегда натошак, а после обеда никогда, потому что, как известно, и сам любит выпить, и стало быть, моего духу не расчухает». Раз Новак нас потешил такой, очевидно, выдумкой, будто он явился к Платону Степановичу совсем пьяный, лыка не вяжет, и на его вопрос: «Ну. чем же ты натрескался, пьяница этакая?» – «Да только сладкой водочкой», – будто бы отвечал Новак, желая как бы смягчить свою вину. – «Эх ты. голытьба! Пил бы, по крайней мере, простую сивуху». – «Он, – присовокупил Новак, – так выразился, должно быть, не потому только, что сладкая водка мне не по карману, а и потому, что она не полезна для желудка, как ему самому хорошо известно по опыту».

В видах нравственного исправления Новака, Платон Степанович заботился о его религиозной совести в исполнении православных обрядов; потому внимательно следил, чтобы он посещал церковную службу. Новак пораньше заберется в церковь и непременно как-нибудь юркнет в глаза Платону Степановичу, как только он появится, а затем тотчас же уходит. Однажды, возвращаясь от всенощной, Платон Степанович на углу университета столкнулся с Новаком, который, переходя Моховую, направлялся к университету. Инспектор поймал студента с поличным и, не говоря ни слова, потащил его к себе в кабинет. – «Так-то ты молишься за всенощной! Ну, говори, пьяница, где ты был?» «Я был на Никольской, в греческом монастыре: там уж очень умильно служат и поют хорошо». – «А от своей православной всенощной ушел?» – «Помилуйте-с, Платон Степанович, ведь и греческое служение такое же православное, как и наше: и равноапостольного князя Владимира обратили в крещеную веру греческие священники, и Кирилл и Мефодий с греческого же перевели нам на церковный язык и обедню, и всенощную». – «Полно врать-то про свою ученость и ступай вон».

Так рассказывал нам Новак; но мы мало придавали веры его рассказам. Вообще надо заметить, что в анекдотах о Платоне Степановиче много было выдуманного и баснословного; но в них была и значительная доля правды, которая вымышленные подробности всегда освещала одной и той же идеею. Мы, старые студенты Московского университета, в своем милом Платоне Степановиче видели как бы воочию эпического героя русских былин и высоко ценили в нем подвиги благодущия, милосердия и снисходительности, которыми он в своей простоте и наивности мог достигать того, что недоступно суровому правосудию с его крутыми мерами.

Несколько лет никому из нас не было известно, что случилось с Новаком по выходе его из университета, разумеется, в звании только действительного студента; но во второй половине сороковых годов он очутился в Москве и стал показываться своим университетским товарищам, но уже в рабьем образе крайней нищеты: на нем была изодранная офицерская шинель и военная фуражка. Он просил подаяния, упорно оставаясь в передней. Сначала мы давали ему по рублю, он тотчас же пропивал; стали давать меньше – и это тащил в кабак. Потом мы узнали, что он на улице попал под экипаж и был взят в больницу, где и помер.

Вместе со мною поступил в университет и был принят в студенческое общежитие Еленев. Это был юноша моих лет, а, может, годом и постарше, и несколько выше меня ростом; белый и румяный, с большими глазами навывкат и с полными, сочными губами, а над ними показался уже пушок народившихся усиков. Юноша пухлый и не то чтобы дряблый, а скорее женоподобный, и голос у него был нежный: он мог бы петь тенором. К таким бывают благосклонны энергические дамы, которые любят покровительствовать и распоряжаться по-своему... Подобные типы Жорж Занд нередко выводит в своих романах. Еленев потому интересовал меня, и я не раз вызывал его на признания о его сердечных делах, но он всегда отмалчивался и заводил речь о другом предмете. Он напоминал мне счастливого пажу в рыцарских романах, который, пользуясь благосклонностью прекрасной хозяйки замка, упорно хранит свою тайну, но не столько потому, что он великодушен и скромн, а потому, что смертельно боится, как бы чего не узнал ее муж.

Науками Еленев интересовался мало и не любил углубляться мыслями во что-нибудь серьезное, зато очень любил романы и читал их с увлечением. В этом отношении он оказал некоторое влияние и на меня, и я познакомился тогда с произведениями Вальтера Скотта в русском переводе, кажется, Шапплета. Из области свободных искусств он особенно предпочитал бильярдную игру, и в этом деле был большой мастер. Бывало, как только улучит свободную минуту, катает себе шары в бильярдной, в том же «Железном» трактире. Студенческий вицмундир на нем всегда в мелу, будто у математика, который трется у своей черной доски, выводя на ней мелом математическую задачу. Бильярдная страсть до того врезалась во все существо его, что где бы он ни был – в комнате, на улице, в аудитории, даже

в церкви, он всегда с бильярдной точки зрения вглядывался в предметы, когда они случайно оказывались расставленными, как шары на зеленом поле бильярда, и прицеливался воображаемым кием, чтобы ударить одним предметом в другой. Особенно соблазняли его воображение головы людей, по своей округлости больше всего подходящие к бильярдному шару. Однажды, во время экзамена, в аудитории, я сидел с ним рядом на передней скамейке; за столом, близ кафедры, сидели экзаменатор, его ассистент, Голохвастов, который был помощником попечителя и при графе Строганове, и четвертый – Платон Степанович Нахимов. Еленев сидит неподвижно, весь выпрямился, а сам поднимет обе руки к правому глазу и опустит, поднимет и опять опустит. Я его спрашиваю: «Что ты делаешь? Глаз что ли у тебя болит?» А он мне совсем серьезно: «А вот я прицеливаюсь, что Платоном Степановичем положить в лузу Голохвастова».

Между мною и Еленевым не могло возникнуть искренней, настоящей дружбы, но мы были хорошими товарищами. Нас связывала обоюдная польза. Я ему помогал в лекциях и приготовлении к экзамену, а он сблизил меня с семейством Клименкова, который был ему земляком, из Смоленска, и давал ему постоянно приют у себя в квартире, так что Еленев большую часть времени проводил не в номере, а у Клименковых, и я туда часто приходил к нему.

По своей специальности Степан Иванович Клименков был медиком очень искусным и имел большую практику; состоял в должности главного субинспектора, он был вместе и врачом студенческой больницы, для которой была отведена особая камера при клинике. Во втором семестре первого курса я опасно захворал горячкой и пролежал в больнице около месяца. Клименков вовремя захватил мою болезнь и заботился обо мне, как о родном; а когда я, выздоровев, быстро стал подрастать, – любовался на меня и говаривал, что моя болезнь была к росту. Когда явился к нам инспектором Платон Степанович, Клименков рекомендовал ему меня как хорошего и благонравного студента. Тогда он был еще совсем молодой человек и недавно женат. Деятельность его была невероятная: вечно суетится, то в аудиториях, то у нас в номерах, то в студенческой больнице, а между тем рыщет по всей Москве, посещая своих больных, а вечера, чтобы отдохнуть от своих трудов и занятий, обыкновенно проводил в клубе за картами. Он был человек очень добрый, ласковый, и студенты его любили.

О его жене, Ольге Семеновне, я вам уже говорил по делу о Чаадаеве, Надеждине и Болдыреве. Тогда ей было около двадцати лет. Это была особа очень красивая, в полном цвете свежей молодости, белая и румяная, – как говорится, кровь с молоком; росту была небольшого, как раз под пару своему мужу, который был невысок. Я вам уже говорил о ее нервном темпераменте и о ее склонности принимать живейшее участие во всех, кого знает. Каждое движение сердца отражалось в чертах ее лица: то побледнеет, то вспыхнет густым румянцем, а то вдруг зальется горькими слезами. Я мог несколько познакомиться с ее характером потому, что и она, как и ее муж, ласкала меня, обращалась не как с чужим и любила со мной иногда побеседовать вечерком. Мне случалось оказывать ей и некоторые услуги.

Когда я возвратился из-за границы, Еленев был уже учителем гимназии в одном из губернских городов. Там он вскоре и женился, и женился на такой красавице, какую редко мне случалось и видеть. Он обладал тонким вкусом в женской красоте, и за то был награжден вниманием прекрасного пола. Потом в том же городе он променял учебную службу на гражданскую, был чем-то вроде советника какой-то палаты или правления и повышался в чинах, благодаря влиянию своей жены.

Когда мы перешли на второй курс, в наш номер прибыло студента два-три из только что поступивших в университет. Между ними я нашел себе отличного товарища, который потом сделался моим истинным другом. Это был Войцеховский, из Литвы, хотя и первокурсник, но постарше меня: он уже брился. Бывают люди такого нежного сердца, которым на роду написано любить преданно и неизменно до той крайней степени самоуничижения

и верноподданности, какая доступна только сердцу женщины. Войцеховский принадлежал именно к разряду таких друзей. Так как некоторые лекции читались младшим курсам вместе со старшими, то вдвоем с Войцеховским мы составляли лекции, учились и читали. Поступив в университет, он знал уже по-еврейски и стал меня учить этому языку. И теперь еще помню из его уроков первый стих книги Бытия: «Брешит бара элогим эт гашамаин бет гаарец».

Наше близкое товарищество не ограничивалось учеными занятиями. Войцеховский был моим неразлучным спутником во всех забавах и веселых похождениях, неизменно вместе со мной сидел за трактирным столом при трех парах чаю, вместе с ним мы лакомились какой-нибудь вкусной порцией, и он, как старше меня и опытнее, позволял себе тогда рюмку водки. Оба мы были не избалованы роскошью, и такие исключения в продовольствии доставляли нам истинное наслаждение. Никогда не забуду одной наивной сцены, которая и теперь отзывается во мне чем-то трогательным. Войцеховскому некоторое время нездоровилось, он похудел; к тому же дело было перед экзаменом, и мы с ним много работали. Не помню, у кого из нас в кармане был достаточный капитал для хорошей, дорогой порции. «Пойдем, – говорит он, – закусим чего-нибудь поплотнее: я отошал и похудел, надо хорошенько подкрепиться». Приходим в «Железный», спрашиваем себе раковый суп – блюдо, которое, по понятиям Войцеховского, преимущественнее других придает силу, свежесть и полноту. Такое же действие он приписывал и рюмке водки. Итак, сначала он выпил рюмку водки, а потому вместе принялись мы уписывать раковый суп. Во время еды вдруг он остановил меня: «Погоди немного», – говорит, а сам сжал свои толстые губы, отчего несколько надулись его щеки, и, помолчав немного, спрашивает меня, – «посмотри-ка мне в лицо; кажется, я уж немножко пополнел», – и опять сделал такую же мину, поглаживая и осязая пальцами обе свои щеки. «Постой, что-то не разберу, – отвечаю я, – ты сжал губы и задержал дыхание: оттого, может, и разболтело твое лицо, а ты открой-ка маленько рот». Он несколько раздвинул свои губы, и я с удовольствием заметил ему, что он и вправду будто немножко пополнел.

В наших разгульных похождениях был он неоцененным товарищем. Собираясь кутить, мы заранее гордились возможностью охмелеть настолько, что не будем в состоянии вести себя как следует и непременно растеряем из кармана деньги, и потому все их отдавали ему; а он, как бы пьян ни был, аккуратно берег наш капитал и в точности расплачивался, сберегая всякую копейку.

В сороковых годах, когда я жил у графа Строганова, Войцеховский был уже учителем гимназии в одном из ближайших в Москве губернском городе. Мы с ним переписывались, и он в письмах продолжал упражнять меня в еврейском языке, посылая мне свои грамматические замечания на еврейские тексты. Тогда я читал псалмы Давида. Бывало, начнет письмо всякой всячиной, и затем вдруг переходит к еврейской грамоте. Некоторые из его писем, как дорогое воспоминание, хранятся у меня и до сих пор.

Он с пылкой страстью предавался тому, что изучал или просто читал. Он так же сердечно относился к книге и вообще к миру идей, как он отнесся бы к любимой женщине. И он действительно влюбился и под влиянием этой страсти восторженно писал мне о греческих идеалах, о римских завоеваниях и о молитвословиях еврейского народа. Привожу целиком это письмо, чтобы дать вам понятие о милых крайностях идеализма того поколения, которое слывет теперь под названием «людей сороковых годов».

«Да, брат, – писал он, – не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что кому нравится, – а то хорошо, что кто любит, а то еще лучше, во что кто влюбился. Я все думал, думал, что значит влюбиться? – и увидел, что влюбиться может не всякий; а счастлив тот, кто влюбился... Влюбиться – значит: пришел, увидел, победил! Не знаю, как ты думаешь, а по-моему влюбляется не только частный человек, а даже целые народы. Кто любил, тот жил; а кто влюбился, тот будет жить весь век, если не здесь, так там, т. е. если не в теле, то в духе целого чело-

вечества. Да, брат! Взгляни на прежние века и спроси, кто был влюбленный народ??? Грек любил свою землю, — он был влюблен в свою природу, в свое небо, он жил и умер для природы. Он олицетворил свою природу в тысяче богов, он воплотил свою природу в миллионы лучших произведений рук, ума и фантазии, и оставил нам любоваться ими, или лучше *ею*; — он образовал свой язык для природы. Какая чудная была его природа! Явилась другая любовь и пожрала, и съела греческую любовь. Влюбленный в войну и завоевания, римлянин пришел, увидел и победил нежно влюбленную Грецию. Да, римлянин любил войну и влюбился в войну. Вся римская добродетель (*virtus*???), вся римская честь и слава — в войне. Весь пламенный патриотизм подчинялся войне. Кто из римлян не воевал, тот не жил; кто не завоевал, тот проклят Римом. Итак, у грека вся его добродетель (????????), его отечество, заключались в его изящной природе; остановили его любовь к природе, запачкали и осрамили его землю — и он погиб вместе с своим языком. У римлянина вся добродетель подчинялась войне; его отечество было там, где он мог воевать и завоевать; он дрался с самим собою; из-за чего? — чтобы только воевать. Ему не дали воевать, и он пропал вместе с своим языком, который ему нужен был только для войны и для войны. Араб влюбился в Алкоран (*al-horan*), в маленькую книжечку — и как он жил весело, роскошно! Да, брат, не будь Корана, араб не более был бы известен, как чухна. Вся слава его, вся поэзия пламенная, как стих Корана, все это — от Корана и для Корана; всякая малейшая пьеска начинается заглавными словами Корана. Но явилась другая любовь и уничтожила арабскую любовь. Ты знаешь ее. Вот что значит любить и влюбиться. Но я тебе расскажу еще про одну любовь. Был великий и гениальный поэт и ученый. Он все умел, все знал, все имел, хотел любить, да не было кого, — хотел пламенно влюбиться, да все было не по нем; пролетел на крыльях гения всю вселенную и встретил он Иегову, влюбился весь в него, да влюбился не так, как те влюблялись: он всю науку свою, весь гений свой и себя самого отдал Иегове; он более не смел сказать мудрецам мира: смотрите, что я делаю! Он говорил: смотрите, вот чудеса Иеговы! Всю свою душу, свою веру, своих богов и божков заковал в цепи и именем всех своих богов, которых, может быть, до миллиона было, назвал своего Иегову; этого мало — он охватил мир и принес его в жертву одному слову Иеговы; вот как он любил! Как любил он, так пламенно любили и его потомки. Да, Израэль более любил своего Иегоцу, нежели кто-нибудь кого-нибудь — он своих собственных чад в жертву обрек было Иегове, да только Иегова не захотел этого. Израэль всей душой, всей жизнью влюблен в Иегову, который для него все — сын и отец вместе, — и укрепитель счастья Израэля. Да, Израэль все посвятил своему возлюбленному — своему жениху... своему единственному Иегове. Тело и дух, ум и фантазию он употребил для славы, для чести, для прославления Иеговы. Он более любил его, нежели боялся, он более обожал его, нежели страшился. Я думаю, никто так не любил, как Израэль, никто так не влюблен, как Израэль; кто хочет любить и не умеет, пусть тот читает еврейские памятники; кто не влюблялся, кто еще не жил любовью пламенною, любовью всего сердца, любовью всей души, тот пусть прочитает все, что было пето о любви к Иегове, — и он будет любить, — и влюбится пламенно, горячо, бесконечно, всем сердцем, всем воображением. Это так. Да и теперь как он его любит!!! Рассеян по лицу земли, а все влюблен в Иегову. Вот как оправдывается истинная любовь! Грек и не помнит о том, что было. Подлый грек.

Посмотри далее. Француз влюблен в ассамблеи и, следовательно, ежедневную перемену платья; немец до безумия влюблен в свой *Geist*, для которого он пожертвовал своей жизнью, своей поэзией, всем своим я, для которого он исковеркал свой язык; я думаю, что немец сам себя не понимает: он ведь и чужое все (греч. и римск.) коверкает на свой лад. Во что влюблен русский-славянин? Как ты думаешь? Ну, брат, скажи свое мнение. По моему, русский-славянин влюблен во все, а во все быть влюблену невозможно, не правда ли? Мне кажется, что русский-славянин должен просто влюбиться в свой язык; он должен принести в жертву все свое знание, всю свою жизнь языку. Он должен учиться греческому

и латинскому языку для своего русского языка; он должен знать по-итальянски, чтобы дать ту певучесть своему языку, – по-французски, чтобы подарить все те нежности и комплименты своему языку, – по-немецки, чтобы уломать свой язык к ученым понятиям (ведь и немецкий язык не родился с теми словами, какие встречаются теперь), – по-английски, чтобы увенчать свой язык той высокой поэзией Шекспира и Байрона. Учись по-английски, и мне после покажешь. Но греческий и латинский языки он должен учить не на немецкий лад, а на русский лад; пока русский будет учиться греческому и латинскому языку по-немецки, все это ни к селу ни к городу. Извини, брат, я заболтался.

Я перевел тебе два псалма *буквально*; советую тебе выучить наизусть по-еврейски. Ты можешь 150-й псалом петь почти на голос: «Ты не поверишь, как ты мила»... Они простеньки и очень легки, потому что повторяются все те же слова.

Всегда твой *Войцеховский*».

И вот полюбил, наконец, и мой милый друг Войцеховский, и не тою собирательною, всенародною любовью, а полюбил лично, сам по себе и сам для себя. Восторженно и страстно влюбился он в дочь директора той гимназии, где служил, и влюбился «напропалую», в настоящем, полном и страшном значении этого слова: он не снискал себе взаимности, и в минуту отчаяния погиб от безнадежной страсти.

Однажды утром призывает меня к себе в кабинет граф Сергей Григорьевич и тревожным голосом сообщает только что полученное им официальное донесение о внезапной кончине Войцеховского. Он зарезал себя бритвою.

Когда я перешел на третий курс, в наш номер поступили два новых товарища, только что принятых в университет из одной провинциальной гимназии, в которой оба они кончили курс. Это были Александр Иванович Селин (а не «Селин», как потом его стали называть) и Сергей Дмитриевич Шестаков. Когда попечитель, граф Строганов, ревизовал свой округ, он заметил того и другого еще на гимназической скамье, как отличных учеников, приласкал их, а когда они стали студентами, постоянно интересовался обоими и следил за их успехами. Тот и другой стали потом профессорами: Селин – русской литературы, в Киевском университете, а Шестаков – латинской, в Московском.

Между всеми моими университетскими товарищами Селин отличался особенною своеобразием. Оригиналom назвать его не могу, как я назвал Коссовича, но ему дана была от природы способность оригинальничать, вечно играть роль, всегда позировать, всегда казаться чем-то другим, а не тем, что он есть, так что, бывало, не разберешь, таков ли он в самом деле или только кажется таким. Росту он был среднего, худой и тщедушный; на бледном лице иной раз пятнами мелькал слабый румянец, глубоко ввалились глаза под густыми бровями, щеки впали, образуя по сторонам губ продольные морщинки. На широкий лоб падали каштанового цвета кудри, но, в противность пословице, не «со радости вились эти кудри и не секлись они со печали», потому что он всегда был грустен и печален, всегда удручен жизнью; скорбящей наружности его вполне гармонировал и скорбный голос, не то безнадежные рыдания, не то задержанные вопли отчаяния, не то замогильные звуки пришельца с того света. И все это не раздавалось громко, а как слабое эхо, иногда доходящее до шепота, таинственно передавало то глубокое и далекое, что бушевало на дне души его. Даже в самых жестах его выражалось что-то не от мира сего: когда он говорил с волнением, он касался руки слушателя оконечностями своих пальцев так нежно, будто дуновение легкого ветерка.

Я бы назвал Селина предвестником теперешних поэтов мировой скорби и безнадежности, если бы он скорбел о бедствиях всего человечества и о безотрадном и безвыходном его положении, – напротив, его скорбь была сосредоточена в себе и на себе; но о чем он горевал, что он оплакивал, никто не знал и понять не мог. В университете учился он хорошо, всегда был из лучших студентов; даже по его отрывочным признаниям и намекам его близ-

кие товарищи – в том числе и я – могли догадываться, что ему жилось хорошо, что он любил и был любим, что его ласкали и даже баловали, что какая-то светская дама дарила его своими милостями, что было какое-то похищение новой Елены, даже через забор, или свидание с нею, когда Сёлин сидел на заборе, а она в саду – не помню хорошенько, только из его отрывистой речи с обычным шепотом удержались в моей памяти забор и видение прекрасной Елены. Таков был Сёлин в молодости, на студенческой скамье; с тех пор как он сел на профессорскую кафедру, я уж с ним не встречался ни разу до самой его смерти. Но тогда мы видели в нем олицетворение Гамлета, разменянного по мелочам, и именно в том его типе, какой придавал ему знаменитый в то время трагик Мочалов, с прикрасою своих обычных жестов – левой рукою бить себя в лоб, а правой хлопать себя по ляжке; только Селин, в согласии с тихим унынием своей души, смягчал эти жесты: медленно и нежно касался лба рукою, а по ляжке вовсе не колотил, вероятно, находя это неграциозным.

Впоследствии из него вышел красноречивый профессор. Студенты любили его. На публичных лекциях в Киеве он производил эффект.

Шестаков был годом моложе Селина, а может быть и двумя. Думаю, – что он поступил в университет одних лет со мною, скорее немножко помоложе меня; он также выросал уже будучи студентом, на моих глазах. Был нежный и миленький мальчик, смуглый, с большими кроткими глазами, с крупными чертами лица; густые пряди каштановых волос легкою волною спускались на его широкий лоб. Он был самый младший из товарищей нашего номера, игривый и шаловливый, как ребенок. Войцеховский, витая в области библейских типов и образов, называл его Вениамином нашего товарищеского кружка. Его лелеяли и оберегали, а я, как старшой номера, взял его под свое покровительство. Этим началась наша дружба и с годами усиливалась до самой его кончины.

Еще на студенческой скамейке сблизился он коротко с своим товарищем по курсу, Петром Николаевичем Кудрявцевым, который был потом профессором всеобщей истории в Московском университете, а затем, по выходе из университета, подружился с Павлом Михайловичем Леонтьевым и жил с ним вместе до самой своей смерти. Товарищеская связь с обоими этими учеными скреплялась единством научных интересов, как это должно быть известно всякому, кто следил за разработкою всеобщей истории, классических древностей и классической литературы.

Преждевременная, ранняя смерть Шестакова лишила меня самого искреннего, горячо мною любимого друга, а ученую литературу – высокодаровитого и неустанно трудившегося деятеля.

IV

Подробно рассказал я вам о моих товарищах и друзьях для того, чтобы вы могли составить себе некоторое понятие о том, каков я был тогда сам, по пословице: «Скажи, с кем ты знаком, – и я скажу, кто ты таков». Но так как мое знакомство не ограничивалось пределами университетской усадьбы, то поведу вас своими воспоминаниями по московским урочищам и улицам с переулками.

Поведу вас сначала опять на Собачью площадку, в Дур-новский переулок, где, помните, я постучался к Кастору Никифоровичу Лебедеву. Когда он возвратился в Москву, принял во мне живейшее участие, которым, впрочем, я не мог долго пользоваться, потому что он через несколько времени перебрался в Петербург. Ему не удалось пристроиться к университету. Он раздражил против себя некоторых из профессоров, представив научные их взгляды и убеждения в карикатурном виде, в написанной им сказке о царе Горохе. Можете сами прочесть ее: она была напечатана, кажется, в «Русской Старине». В Петербурге он променял ученую карьеру на юридическую, успешно и с отличием служил чиновником министерства юстиции и скоро вошел в милость у министра, графа Панина; был командирован за границу, именно в Пруссию, для наглядного и практического ознакомления с судебным делопроизводством, и по возвращении напечатал подробный отчет о своих наблюдениях. В начале пятидесятых годов занимал должность обер-прокурора Правительствующего Сената в Москве, а потом должность сенатора в Петербурге.

Теперь переберемся за Москву-реку, на Донскую улицу, к церкви Риз Положения. Наискосок против этой церкви к стороне Калужских ворот в то время выходил на улицу длинный забор; воротами входишь на большой двор, будто площадь, покрытый зеленой травой. На этом лугу, налево стоял небольшой каменный дом, построенный в XVIII столетии, двухэтажный, с толстыми-претолстыми стенами, окна маленькие, внизу с железными решетками, заржавелыми от многолетия; наружная дверь тоже была железная и такая же ржавая; к ней поднимались по двум каменным ступеням, изрытым и истертым донельзя. Отделенный от двора решеткою, простирался большой луг; на нем кое-где высокие столетние деревья с голыми сучьями наверху. Тут летом паслись две-три коровы. В правом углу этой луговины рядами тянулись грядки со всяким овощем, огороженные плетнем. Этот пустырь, не тронутый в 1812 г. французами, описываю вам для того, чтобы дать понятие, как тогда жилось в Москве широко и привольно. Недаром иностранцы называли нашу древнюю столицу колоссальной деревней. Я вас ввожу в одно из поместий этой деревни. Этот дом, более похожий на крепость или тюремный замок, принадлежал Наталье Васильевне Кушечниковой, старой девице лет за пятьдесят; она занимала верхний этаж, а в нижнем жила ее родственница и старинная подруга, Елизавета Романовна Верховцева, вдова, с своим сыном Аполлоном Ильичом. Она была родная сестра моего вотчима, который давно уже скончался, когда я прибыл в Москву.

Аполлон Ильич был замечательно красивый молодой человек, лет двадцати пяти, с правильными, так называемыми античными чертами лица, с большими карими глазами, брюнет; позднее носил длинные и тонкие бакенбарды, которые изящно обрамляли его смуглое лицо. В обществе он производил эффект, как своей наружностью, так и отличным голосом: у него был замечательный тенор. Он служил в опекунском совете и впоследствии дослужился до звания почетного опекуна. До глубокой старости умел сохранить свою красоту разными искусственными средствами. До последнего времени его можно было видеть председательствующим на выпускных экзаменах Екатерининского и Александровского институтов.

По приезде в Москву я не замедлил отправиться на Донскую улицу. Елизавета Романовна и Наталья Васильевна приняли меня как родного. Я у них проводил по праздникам целые дни, а случалось и гостил по неделям в вакантное время. Летом мне привольно было гулять по большому лугу и читать свою книгу под тенью развесистого дерева. Аполлон Ильич оказывал мне дружеское снисхождение и при случае давал мне уроки, как вести себя в обществе прилично, по-светски, с соблюдением собственного достоинства.

Из лиц, которых мне случалось видеть у Верховцевых, самым интересным был для меня Сергей Николаевич Глинка, автор пользовавшихся некогда большой известностью «Писем русского офицера». Он всегда являлся во фраке и белом высоком галстуке, на ногах ботфорты.

К обеим обитательницам старинного дома у Риз Положения вот что писала моя матушка, от 7 августа 1834 г.:

«Почтенные, добрые, милые мои сестры, Елизавета Романовна и Наталья Васильевна! Голубушки мои, очень вы обрадовали меня вашим письмом. Я не сомневалась, чтобы вы приняли моего Федора чужим. Матушки мои, вас Бог наградит за вашу родственную ему ласку. Боюсь, не охладил бы он вас: он холоден и угрюм. Извиняйте ему, если вы его найдете таким: это его характер, – и его кроме наук ничто, кажется, не разгорячит. И если что вам в нем не будет нравиться, пожалуйста, останавливайте, несмотря на его рост, а помните его лета; выдерите уши, если он заслужит. Да вот он уже и заслужил. Каково невнимание! Не писал. Если бы не вы, мои друзья, то я не знала бы на что и подумать. Теперь, слава Богу, покойна, что он жив. Родные мои, узнайте, что за квартира, можно ли ему стоять на ней».

Еще к ним же от 16 октября того же года: «Милые мои, добрые, бесценные сестры! Голубушки вы мои, если бы вы знали, как вы меня обязываете вашей лаской к моему Федору. Вас за это Господь наградит. Вы, мой друг, сестрица Наталья Васильевна, пишете, что в одной комнате спите с Феденькой. Это мы часто с ним делали дома, и верно, когда он ночует у вас, то полагает, что он близок к матери». Затем, мое знакомство в Москве ограничивалось приезжими из Пензенской губернии, – больше из уездных городов и деревень, нежели из самой Пензы. Их было довольно, но я обращаю ваше внимание только на двух помещиц: на Капитолину Яковлевну Никифорову и Марфу Андреевну Владыкину. О первой я много слышал хорошего, но лично не был с нею знаком; вторую же знал коротко, давно пользовался ее расположением и очень любил ее.

Когда Никифорова ехала в Москву, мой двоюродный дядя, Андрей Сергеевич Сергеев, рекомендовал ей меня, а мне написал, чтобы я явился к ней непременно. Из его письма я знал, что она приехала с сыном, годом старше меня, который поступает в школу гвардейских подпрапорщиков, и с дочерью моих лет. Это было в конце сентября, я только что поступил в университет, чувствовал себя на вершине блаженства, но ни мундира, ни вицмундира у меня еще не было. Как же мне явиться к новым знакомым в стареньком сюртучишке? Я уже заранее гордился своим студенческим мундиром, при шпаге, с треуголкой. Дам, дескать, себя знать перед будущим гвардейцем и перед его молоденькой сестрицей, и положил идти к ним тогда, когда будет готова моя амуниция. Ждал, ждал, наконец надели на меня вицмундир, а мундира все еще нет. Я уже решил было надеть чужой, от кого-нибудь из товарищей старших курсов, но у них форма была еще с малиновыми воротниками и только с нас, новобранцев, пошли синие воротники, те самые, какие приняты и теперь. Ничего больше мне не оставалось, как надеть мундир Класовского с малиновым воротником и явиться, наконец, к Никифоровым на Спиридоновку. Рассказываю вам эти пустые подробности, да и вообще упоминаю о Никифоровых для того только, чтобы вы прочли, как моя матушка делает мне выговор.

От 11 декабря того же года:

«Да вот еще твоя глупость непростительная. Тебя благодетельный твой дядя рекомендовал почтенным своим знакомым: первое, ты его не благодарил, а второе, не был у почтенной Никифоровой, и велишь, чтобы я за тебя благодарила дядю. Меня это все очень огорчает и дает мысль о тебе, как о неблагодарном и нечувствительном. А тебе ли разбирать приличные платья? У тебя есть вицмундир, он один у тебя, и ты везде, где должно, можешь в нем быть, и эта твоя нечувствительность к почтенному и лестному для тебя знакомству меня огорчила. Я не воображала, чтобы мой сын был так нечувствителен к благодеяниям милого и доброго своего дяди. А я за все это сержусь на тебя. Подумай хорошенько, и ты почувствуешь, что ты стоишь этого. И если ты хочешь со мной помириться, то исполни все это: пиши дяде приличное его благодеяниям письмо, сходи, или даже сходи к Никифоровой и извинись, что не мог раньше быть, потому что не хотел показаться им невежливым быть в вицмундире, но не дождался мундира. Если тебе покажется грубо письмо мое, то подумай хорошенько и ты увидишь, что я правду от тебя требую и прошу в таких обстоятельствах быть почувствительнее. У Никифоровой будь непременно. Доброму, милому Кастору Никифоровичу мою душевную благодарность и почтение скажи, милым сестрам тоже. Аполлону Ильичу также кланяйся. Я радуюсь, что ты в восхищении от своих лекций; но, мой друг, и еще скажу, что одно без другого не годится; приличие и благодарность – это чувства не последние для молодого человека...»

Теперь прошу вас вместе со мною от Спиридоновки перенестись в Zubovo, к Неопалимой Купине, в деревянный дом с мезонином, в переулке, который с задней стороны этой церкви тянется параллельно Смоленскому бульвару. В этом доме поселилась приехавшая в Москву из Чембарского уезда помещица Марфа Андреевна Владыкина с своим сыном, годом моложе меня, Алексеем Степановичем, и с его гувернером французом, Александром Богдановичем Ломбаром, который при мне был учителем французского языка в нашей гимназии. Моя матушка давно была с нею знакома, и когда обе они овдовели, матушка – после моего вотчима, а Владыкина – после мужа, их знакомство перешло в дружбу; обе – молодые вдовы и ровесницы. У Владыкиной я нашел такой же радушный родственный прием, как и у Верховцевых. Сверх того, мои посещения Владыкиных приносили нам обоюдную пользу. Марфа Андреевна поручила мне давать уроки русского языка и истории ее сыну, который тогда готовился к поступлению в военную службу. Впоследствии он служил в гусарах.

Из посетителей, которых мне случалось встречать у Владыкиной, назову вам Белинского, которого она знала еще мальчиком и говорила ему «ты». Его отец, уездный лекарь, в течение многих лет был у ней в имении домашним врачом и пользовался ее расположением и доверием. При этом замечу вам кстати, что и Белинский был моим учителем русского языка в 1829 г., когда я только что поступил в первый класс гимназии, а он, только что кончивши в ней курс, не мог за недостатком средств отправиться в Московский университет, как он намеревался, и, оставаясь в Пензе, в звании ученика гимназии, занимал вакантную должность учителя. Странно, что именно от той далекой поры врезалось в мою память, как у него в классе мы учили наизусть:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества...

И еще:

О, дети, дети! Как опасны ваши лета!
Мышонок, не выдавший света,

Попал было в беду. И вот как он об ней
Рассказывал в семье своей...

V

Чтобы дать вам некоторое понятие о том, при каких условиях слагался мой характер в период студенчества, я должен познакомить вас с письмами моей матушки. В них я находил для себя и чувствовал охранительную силу, которая должна была сдерживать и утолять мои стремления и порывы в охватившей меня новой жизни казаннокоштного товарищества. Но сначала мне следует рассказать вам, кто такая была моя матушка и какова была она.

Моя матушка, дочь армейского офицера Ивана Андреевича Андреева, участвовавшего в Суворовском походе через Альпы в Италию, родилась в г. Керенске в 1802 г., а в 1816-м, четырнадцати лет от роду, вышла замуж за моего отца Ивана Ивановича Буслаева, состоявшего в должности керенского уездного стряпчего. В начале XVIII столетия его прадед Аким Никитич был «с приписью подьячий» керенской канцелярии воеводского правления, жалован указом Петра Великого в 1723 г. поместным окладом «ста шестидесятью четвертями».

Будучи шестнадцати лет, моя матушка родила меня 13-го апреля 1818 г., а когда мне минуло только что пять лет, я остался при ней сиротой. Вот что значится в ее записной книжке, которую я берегу вместе с ее письмами: «Первое мое замужество – в 1816 г. ноября 8-го дня. Жила с мужем шесть лет и шесть месяцев и двадцать пять дней, то есть, он скончался 1823 года июня 3-го числа, и с тех пор-то веду дни бедственные».

Мне очень хотелось бы покороче ознакомить вас, во-первых, с чертами лица и вообще с наружностью моей матушки и, во-вторых, с ее характером; но ни того ни другого сделать не могу, как следует. С тех пор, как я стал себя чувствовать, мы жили с ней одною жизнью, совокупно радовались одними и теми же радостями, горевали в одних и тех же печалях, однообразно проводили день за днем в тех же привычках, и потому я не мог сознательно отрешиться от этого нераздельного существования и сделать мою матушку предметом для своих наблюдений. Иное дело – казеннокоштные студенты, мои товарищи по номеру, которых я мог характеризовать вам подробно: тут било мне в глаза новизною, непривычные впечатления останавливали на себе мое внимание и изошряли во мне наблюдательность, а потом в продолжение многолетних сношений и знакомства с этими товарищами и друзьями они окрепли и глубоко врезались в памяти, как готовый материал для воображения. Что касается до моей матушки, то я жил с нею вместе только до шестнадцатилетнего моего возраста, да еще потом провел с ней один месяц в Москве, куда она приезжала зимою навестить меня, когда я был уже на втором курсе. После этого я уже не видал ее: она скончалась в 1836 г., тридцати четырех лет от роду. Обо всем этом я расскажу вам подробно, где следует.

Моя матушка была высокого роста, телосложения крепкого, ни худая, ни полная. Портрета от нее не осталось. Как ни стараюсь, решительно не могу в своем воображении представить ее лицо в полной совокупности его очертаний; вероятно, и прежде никогда не мог я этого сделать. Впрочем, некоторые подробности ее физиономии иной раз мелькнут в моей памяти и затем мерещутся, будто смутные фигуры в потемках.

Лоб у ней был, кажется, широкий, но какие были глаза – совсем не помню, голубые или серые, а носик – хорошо помню – был немножко вздернут, что придавало ей на мой взгляд особую грацию. Губки были прехорошенькие. Но что особенно рисуется в моем воображении, так это ее длинные и густые русые волосы. Она заплетала их в две толстые косы и накладывала их себе на голову в виде венка. Она была блондинка и, как я хорошо помню, гадала о себе в картах на бубновую даму.

Когда я зажмурю глаза, эти отдельные черты, каждая по себе, рассыпаются врознь, мелькая передо мною, как звездочки в небе, и никак не хотят собраться вместе, чтобы слиться в одно цельное и полное представление дорогого мне образа. Здоровья она была необыкновенно крепкого, «гигантского и неизносимого», как она сама о себе говорила. Она не знала

усталости и не остерегалась ни холода, ни даже мороза. В зимнее время она выходила наружу, не набросив ничего на свое платье, не покрыв головы и не надевши теплых сапог на легкие туфли, и так перебегала по снежному двору во флигель или по хозяйству в кухню, а то и в амбар. В летние жары, когда все живое изнемогает от духоты, она любила прохладиться в погребе, сидя с каким-нибудь рукодельем на одной из ступеней лестницы, спускающейся в яму. С крепким здоровьем в ней соединялась физическая сила. Она любила ухаживать за опасно больными, без сна проводить у их изголовья целые ночи, поворачивать и поднимать их. Когда мне было шесть и даже семь лет, она носила и держала меня в руках подолгу, если это оказывалось почему-либо нужным.

Говорить вообще о ее характере и об умственных и нравственных ее качествах я не буду из опасения, чтобы не дать вам повода заподозрить мои слова в пристрастии сыновней любви. Обо всем этом можете судить сами из подробностей повествования, к которому теперь и возвращаюсь после этого краткого эпизода.

Мы остановились на кончине моего отца, о которой вы узнали из слов моей матушки в ее записной книжке. Он опасно занемог еще в Керенске и для излечения был переведен в Пензу, где месяца через два и помер. Моя матушка не могла уже воротиться на жительство в Керенск, где была она так счастлива с своим мужем, и с тех пор навсегда водворилась в Пензе, в которой прежде не бывала ни разу.

Вскоре купила она себе дом на высоком, крутом берегу реки Пензы, в гористой местности, на вершине которой расстилается городская площадь с собором, с присутственными местами, с гимназией, с семинарией, дворянским собранием и театром, принадлежавшим тогда некоему Гладкову, а также с казенными зданиями для губернатора и архиерея. За площадью через несколько домов поднималась широким гребнем старая березовая роща, которая называлась тогда «гуляньем». От рощи гора понижается крутыми спусками, покрытыми кустарником, которые ниспадают на широкую и далекую равнину с лугами и нивами. С этой низменности направо от «гулянья» поднимается церковь Боголюбской Божией Матери при кладбище, на котором покоится прах моего отца.

Крутой берег, на котором стоял наш дом, направо идет в город к городской площади, а налево постепенно спускается на расстоянии домов двадцати пяти и, наконец, ниспадает до уровня воды широкою песчаною полосой там, где у последнего дома река круто поворачивает налево. Дома через четыре вниз с нашего, перекинут мост через реку с этой нагорной стороны на низменную, прямо к нашей приходской церкви Казанской Божией Матери. Не знаю, как теперь, но в мое время там врассыпную торчали кое-где вдоль берега только убогие лачуги с огородами, а за ними далеко и широко простиралась песчаная низменность, которая в весенний разлив вся покрывалась водою.

Наш дом был с мезонином и выходил к набережной палисадником, в котором были разбиты между клумбами цветов дорожки, покрытые песком; вдоль решетчатого забора поднимались невысокие кусты сирени и воздушного жасмина. Передняя часть дома состояла из залы и гостиной, которая для нас с матушкой была вместе и кабинетом, где мы оба читали какую-нибудь книгу или я учил уроки, а она что-нибудь работала.

В то время бумажных обоев еще не было в употреблении, и стены этой комнаты были покрыты темно-лазуревой краской, а белый потолок разрисован гирляндами и букетами из тюльпанов, роз и всяких других цветов.

У стены, отделяющей гостиную от залы, стоял диван, а перед ним круглый стол. Над диваном висели в рамках под стеклом две небольшие гравюры, одна под другой. Верхняя, поменьше, должна была изображать Наполеона I на острове Святой Елены, хотя самого императора на ней не было видно. Был только представлен высокий берег над морем, налево роща, переднее дерево которой резко вырисовывалось по белому фону причудливыми изгибами своего ствола и сучков.

Рядом с этим деревом, немного отступя, стояло тоже искривленное деревцо, немного пониже. Вот и все. Вам говорят, что это Наполеон на острове Святой Елены, а вы его не видите и до тех пор не найдете, пока вам не укажут на белую полосу бумаги, очерченную извилистыми линиями обоих деревьев. Тогда вместо полосы пустого пространства вы увидите белую мраморную статую самого императора, стоящего боком, с античным профилем его лица, в треугольной шляпе и мундире: он стоит, по своему обычаю, скрестив руки на груди. И когда вы разгадаете этот фокус, вы уже всегда будете видеть между двумя деревьями не пустое пространство, а мраморную статую в форме силуэта.

Да, и в ту пору для нас с матушкой «он был властитель наших дум».

Нижняя гравюра была побольше и значительно длиннее в ширину; на ней в трех кругах было изображено по портрету: на одной стороне поясной портрет императора Николая Павловича, на другой – императрицы Александры Феодоровны, а между ними в середине – цесаревича наследника Александра Николаевича, семи лет от роду, в курточке и с отложным и очень широким полотняным воротником. От матушки я уже знал тогда, что он мне ровесник, что родился в том же году и в том же месяце, как и я, только четырьмя днями моложе меня. «Гляди на него, мой дружок (она любила называть меня так): он ведь будет твоим царем».

Спустя многие десятки лет, через целое столетие, в скорбные дни, последовавшие за 1-м числом марта 1881 года, – не знаю, какими судьбами вдруг воскресла в моей памяти эта гравюра с тремя портретами, давным-давно забытая мною, и светлый образ милого мальчика с добрыми, приветливыми глазками не переставал носиться в моем воображении, будто утешая меня и озаряя своим присутствием мои мрачные, горькие думы.

Особенно помнится мне угольное окно нашей гостиной. Подолгу сживали мы у него с матушкой друг против друга. Она поверяла мне свои заботы и планы, свои надежды и опасения, свои горькие печали и немногие радости, которые редко выпадали на ее долю после того, как она лишилась моего отца. Эти дружеские беседы сливаются в моих воспоминаниях с широкою панорамой, которая из окна перед нами расстилалась. Направо верхняя часть города своими спусками круто ниспадала к самой реке, а налево за рекою поднимались холмы, покрытые темною зеленью дремучего соснового бора.

Перед окном из-под крутого берега тянулась широкая и далекая равнина. На ней на расстоянии версты от города с левой стороны виднелась роща, перед которой белела церковь Всех Святых с городским кладбищем; направо же, верст на двенадцать по небосклону, тянулась гора, при подошве которой стояло село Валяевка, куда ходили на богомолье к источнику святой воды.

Вдоль задней стороны дома тянулась крытая галерея с крыльцом. Перед ней на дворе стояли рядом амбар с сусеками для овса, крупы и всякого другого снадобья, сарай с сеновалом наверху и конюшня, а при ней собачья конура с большим черным псом, Барбосом, или – как его обыкновенно кликали – Барбоскою. По другую сторону двора, образуя прямой угол с этими строениями, стояли кухня, флигель и у самых ворот погреб. Небольшое пространство между погребом и флигелем, покрытое кровлею, предназначалось для курятника.

В самом углу, который приходился прямо против ворот, был вход в сад с разными фруктовыми деревьями. Отлого спускался он вниз к длинной полосе огорода с поперечными грядами капусты, огурцов и всякой другой зелени. Там же внизу была построена баня.

У матушки, по наследству от ее отца, а моего деда, была крепостная дворня. Овдовев, осталась она с хорошими средствами, которые не только обеспечивали ее существование, но и давали возможность располагать удобствами жизни.

Самые ранние мои воспоминания относятся ко времени, когда мы поселились в нашем пензенском доме. Прежде всего возникает передо мною глубоко врезавшееся в моей памяти событие, которое поразило меня ужасом и нестерпимою жалостью. Это было утром после

обедни в день Светлого Христова Воскресения. Матушки не было дома; я ждал ее в гостиной. Вдруг слышу говор, шум и суетню, и вслед за тем опрометью вбегает матушка, хватая меня в объятия и прижимает к своему окровавленному лицу. Вот только этот один момент, ошеломивший меня, как удар грома, и застрял в моей памяти. Не будь его, я бы давно забыл и не рассказал бы вам о благочестивом обычае, который в день Пасхи справляла моя матушка в первые годы своего вдовства. После обедни она отправлялась в острог христосоваться с колодниками и оделять их кусками кулича и пасхи. На этот раз между заключенными, был один сумасшедший. Он сидел в особой камере. В порыве восторженного состояния духа моя матушка непременно должна была похристосоваться и с ним, веруя и надеясь, что благовестие о воскресении Христа и в этом безумном воскресит остолбенелые его мысли и просветит померкший рассудок; но безумный стремглав бросился к ней и укусил ее в щеку.

К этому же далекому времени относится и другое событие, но оно не промелькнуло передо мною одним мгновением, а протянулось в моей памяти длинным следом томительной и жуткой боязни. С ранней молодости у моей матушки была горячо любимая ею подруга, которая потом вышла замуж за городничего в уездном городе, от Пензы верстах в сорока, именно в Мокшане. Перед самым началом весенней оттепели, после трудных родов, она опасно захворала и вызвала мою матушку к себе. Решительно не помню, как мы попали в Мокшан, долго ли моя матушка ухаживала за своею больною подругой и как на ее руках она и скончалась. На другой или на третий день после ее похорон матушка решила почему-то немедленно же оставить дом городничего и вернуться в Пензу, несмотря на весенний разлив Суры и впадающей в нее реки Пензы, который теперь отделял Мокшан от нашего дома.

В Мокшан мы приехали на санях, а оттуда отправились на колесах в тарантасе. Путь шел большою дорогою по песчаной низменности, на которую спустился сосновый лес с тех темно-зеленых холмов, которые – помните – виднелись из угольного окна нашей гостиной. Перед нами прямо тянулась столбовая дорога, которая вдаль превращалась в канал, а по обеим сторонам его вместо берегов поднимался сосновый лес. Сначала мы ехали по грязи и по мокрому песку и вскоре затем по воде, в которую мало-помалу стал погружаться наш экипаж; она покрыла уже и ступицы колес, но не успела еще подняться до кузова, как мы подъехали к платформе, пристроенной к какому-то домику, стоящему – как сейчас вижу – на правой стороне затопленной разливом дороги. У платформы стояла большая лодка с несколькими гребцами; мы перебрались в нее со всем нашим багажом и тронулись с места. По мере того как уровень дна спускался ниже, разлив становился все глубже и глубже. Сначала мы измеряли его верстовыми столбами. Вот высунулся из воды один только наполовину, а следующий затем торчал уж одной верхушкой, будто кочка. Теперь пришлось соображаться только с высокими стволами деревьев этой необычайной аллеи; но и стволы, чем дальше вперед, тем глубже и глубже тонули в воде. Наконец, дорога сузилась от торчащих с обеих сторон сучьев соснового леса. Надобно было держаться по самой середине, чтобы лодка не задела сучок и не опрокинулась. Тут еще легко можно было справиться, покамест следы нашей аллеи обозначались по обеим сторонам хотя бы маленькими зелеными ветками сосновых верхушек. Но и они потонули, и гребцам в течение нескольких минут приходилось так направлять нашу лодку, чтобы она не наткнулась на невидимый под водою сучок и не перевернулась вверх дном. Однако мы еще не спаслись от всех бед опасного плаванья; самая большая ожидала нас далее. Перед нами расстилалась гладкая, как зеркало, равнина широкого разлива, но не в далеком расстоянии по ней поперек перекинулась широкая волнистая полоса бурого цвета. Это был след, отмеченный руслом бурливой реки на поверхности стоячей воды разлива. Когда мы стали приближаться к этой полосе, нам казалось, что мы направляемся по прозрачному хрустальному берегу к водовороту мчащегося вперед потока. Чтобы безопасно перебраться через него, надобно было умеючи попасть в него и умеючи из него

выбраться: нельзя было направить лодку ни под прямым углом, ни под слишком косым; в том и другом случае она непременно перекувырнулась бы. Но пензенские лодочники были мастера своего дела, и мы благополучно спустились в шипучий водоворот, понеслись по волнам потока и долго не могли из него выбраться: это гораздо опаснее и труднее, чем попасть в него. Тут нужна ловкая сноровка, приобретаемая опытностью и привычкою, и, благодаря Бога, мы успешно проскользнули на другую сторону.

На все эти подробности моих смутных и тоскливых впечатлений, вероятно, наводила мое внимание матушка, соображаясь с веселою болтовнёю лодочников, которые привыкли неустрашимо бороться с опасностями водной стихии.

Да, в характере моей матушки твердая решимость соединялась с героической отвагою ее отца, суворовского солдата, который переходил в альпийских горах через Чертов мост.

Летом 1825 года проезжал через Пензу император Александр Павлович. Его ждали в соборе. День клонился к вечеру. На площади толпилась сплошная масса простонародья и поднималась вверх по длинным ступеням широкой и высокой лестницы, ведущей к южным воротам собора. Отсюда должен был войти государь. Начинало уже смеркаться, а собравшуюся в церкви такую же сплошную толпу нарядных дам и мужчин в парадной форме ярко освещали зажженные паникадила, лампы и свечи. Тут были и мы с матушкой. Она держала меня на руках. Когда государь вошел в собор, она в сумятице расступившейся перед ним публики приноровилась так, что мы очутились впереди, и он близехонько прошел около нас. В том же году зимою мы были с матушкой свидетелями другой церемонии, которая своей мрачной безотрадностью составляла резкий контраст с этим светлым торжеством. Дело было ночью. На площади, тоже у собора, только с северной ее стороны, а не с южной, тоже собрался народ, но не сплошною толпою, как тогда, а кучками врозь, которые тихо двигались из стороны в сторону, медленно подходили к церкви и отступали назад. При свете луны на белом снегу и у белой стены собора поднималась громадная черная колесница без лошадей, под черным же балдахином: на колеснице стоял саркофаг, в саркофаге был гроб, а в гробу – усопший император Александр Павлович. Вот как он возвращался с далекого юга и свою северную столицу через Пензу, где недавно встречали его в радостном ликовании.

Вокруг печальной колесницы стояли караулом дежурные генералы и офицеры. Между ними находился тогда молодой тридцатилетний флигель-адъютант граф Сергей Григорьевич Строганов, бывший впоследствии попечителем Московского университета.

Около этого времени матушка моя сблизилась и вскоре подружилась с Марьей Алексеевною Лебедевой, матерью Кастора Никифоровича, о котором я уже не раз говорил вам. Главною причиной этого сближения, я полагаю, было желание матушки отдать меня в приготовительную школу, которую содержала Лебедева для приходящих девочек из зажиточных семейств города. В этой школе и я был приходящим и учился в ней до 1828 года, когда 10 лет от роду поступил в 1 класс пензенской гимназии.

Марья Алексеевна была вдова, годами десятью старше мой матушки, и по тогдашнему времени довольно образована, т. е. говорила по-французски и играла на фортепьянах. Через нее матушка познакомилась с моим вотчимом и, вероятно, при ее же посредстве вышла за него замуж в 1825 году, всего двадцати трех лет от роду; в 1826 году у ней родилась дочь Софья, а в 1827 – другая дочь, Серафима. Первая была брюнетка и похожа на своего отца, вторая же уродилась в матушку – блондинкою. Их обеих я очень любил, особенно последнюю. Давно уже скончались они, еще в царствование Николая I.

Первые годы вторичного замужества моей матушки остались у меня в тумане. Кажется, мой вотчим ласкал меня; по крайней мере, я не помню, чтобы он чем-нибудь меня обидел или оскорбил. Впрочем, в моих воспоминаниях о нем ничего не осталось ясного и определенного до той поры, когда его дурное поведение, доходившее до возмутительного бесчинства, повергло матушку в бездну несчастий.

У меня не хватает духу входить в подробности нашего бедственного положения. Мне самому становится до крайности стыдно при одном о них воспоминании и оскорбительно для памяти моей матушки. Вотчим не только пьянствовал, пропадал по целым неделям и возвращался домой как бешеный, но и вконец разорил состояние моей матушки.

Ничто так не скрепляет дружбу, как страдание вдвоем, и в это скорбное, безнадежное время я стал для матушки не только горячо любящим сыном, но и задушевным искренним другом, с которым она вместе страдала и проливала горькие слезы.

Несчастье сильно способствует развитию детей. Будучи только двенадцати лет, я уже чувствовал и поступал как взрослый, когда дело касалось моей злополучной матери. Однажды, зимою 1829–1830 годов, вотчим пропадал без вести недели две, если не больше. В это время матушка родила мне сестрицу Надю. Девочка была хворенькая: ее надобно было поскорее окрестить; я был ее крестным отцом. К вечеру она скончалась, а на другой день вместе с моей нянькой мы повезли ее хоронить на кладбище у той церкви Всех Святых, что виднелась из окна нашей гостиной. Живо помню, как мы с нянькой проезжали далекую снежную равнину по ухабистой дороге, старательно придерживая на коленях маленький гробик, чтобы он при ухабе как-нибудь не выскользнул из наших рук.

В сентябре месяце 1830 года Пензу постигла небывалая еще в России страшная болезнь – холера. Мой вотчим продолжал вести свою разгульную жизнь и по-прежнему пропадал из дому. Однажды утром привезли его к нам зараженного холерою. Он едва держался на ногах; как сейчас вижу его посинелое лицо, обезображенное судорогами. Тотчас же его перенесли на кровать, а меня матушка немедленно отправила из дому гостить в коротко нам знакомом семействе прокурора фон-Фриксиуса; сама же осталась одна-одинехонька при умирающем, потому что вся прислуга в испуге разбежалась из дому и попряталась кто в кухне, кто во флигеле, а кто в сарае или в конюшне. Целые трое суток тянулась агония умирающего, и матушка ухаживала за ним без посторонней помощи; никто из дворовых не осмеливался ступить ногою в зараженные комнаты, и если ей что нужно было вынести или что взять, она выходила на заднюю галерею и подзывала к себе кого-нибудь из прислуги.

Подробностей о том, как она проводила эти дни и ночи, я от нее никогда не слышал, и решительно не могу представить себе, как доставало ей сил выносить страшное зрелище отвратительных корч, обыкновенно сопровождающих эту моровую язву, и нестерпимое злое заразных извержений. Она покорно и твердо исполняла свой долг и вовремя успела пригласить священника для напутствования Святыми Дарами умирающего, который внушал ей теперь только милосердие и сострадание.

Озлобление и ненависть были чужды ее всепрощающему великодушию, и признавая моего вотчима виновником ее бедствий, она умела сохранить беспристрастие к его родной сестре, не переставая питать к ней дружеское и сердечное расположение, о чем вы сами можете судить из приведенного выше письма ее к Елизавете Романовне Верховцевой. Вообще, в переписке с ней умела она с простодушием и с искреннею откровенностью соединять тонкое чувство деликатности, чтобы не нанести оскорбления, когда речь касалась щекотливых намеков на ее вторичное замужество.

За год до своей кончины и спустя пять лет по смерти моего вотчима, вот что писала она к его родной сестре, от 4 июня 1835 года:

«Вот, моя родная, что сделало мое безрассудное замужество! Оно отняло у меня решительно все: имя, состояние и даже гигантское, неистощимое бы в лучшей жизни мое здоровье. Голубушка вы моя, не оскорбила ли я вас своим ропотом? Но благоразумие ваше – я знаю – так велико, что вы не оскорбитесь ропотом страдающей женщины».

Тотчас же по смерти моего вотчима будто тяжелая гора свалилась у нас с плеч. Наконец-то мы с матушкойдохнули свободно. Правда, мы очутились в бедности, но скудные остатки разоренного состояния все же давали нам возможность кое-как пробавляться,

не впадая в крайнюю нищету, от которой спасала матушка свою семью рассудительной бережливостью. В ее доме водворились по-прежнему спокойствие и добропорядочность. Участие друзей и знакомых радовало ее и подкрепляло ее силы к энергической деятельности; к ней воротилась прежняя ясность бодрого ее нрава; она даже повеселела и опять, как бывало давно, она сделалась центром и душою того маленького общества, которое ее окружало.

Из наших знакомых останавливаю ваше внимание только на двух семействах, именно на Меркушовых и фон-Фриксиусах, потому что матушка коротко подружилась с ними не из одной лишь приязни, как со всеми другими, но и в личных интересах моего обучения и вообще образования.

Семейство Меркушовых состояло из матери, вдовы лет сорока с небольшим, из дочери, мне ровесницы, и из сына Василия Филипповича, только что кончившего курс в казанском университете и состоявшего тогда учителем математики в нашей гимназии.

Прокурор Карл Карлович фон-Фриксиус был старик лет 60, имел жену, четырех дочерей, из которых младшей было уже лет 14, и двоих взрослых сыновей. Любил жить весело, угощал хорошими обедами и устраивал танцевальные вечера. В этом-то семействе гостил я, когда мой вотчим умирал от холеры; сюда же на время переселилась и матушка, пока из нашего дома выкуривали заразу какими-то ядовитыми зельями. Одна из дочерей фон-Фриксиуса, Анна Карловна, вышла замуж за Александра Христофоровича Зоммера, учителя немецкого языка в нашей гимназии, и оставалась навсегда одною из лучших приятельниц моей матушки.

Таким образом, матушка сблизилась и подружилась с двумя преподавателями гимназии, где учился ее сын.

VI

Гимназический курс продолжался тогда только четыре года и состоял из четырех классов, с тремя уроками в день, по два часа на каждый из них, всего шесть часов; два урока до обеда с 8 часов утра и до 12-ти и один после обеда, с 2 до 4-х.

Я поступил в гимназию десяти лет, в 1828 году и оставался в первом классе два года, а окончил курс пятнадцати лет, в 1833 году. Тогда принимали учащихся в университет не моложе шестнадцатилетнего возраста, и мне пришлось по окончании курса пробыть в Пензе целый год, что принесло мне великую пользу, дав мне возможность пополнить пробелы гимназического обучения и подготовиться к университетскому экзамену.

Мы жили близехонько от гимназии: идти обыкновенной ходьбою – каких-нибудь минут пять, а если бежать, как переносится с места на место гимназисты, – будет не больше двух минут. Это каменное двухэтажное здание, теперь занятое, кажется, уездным училищем, стоит на углу не раз уже упомянутой мною городской площади и Троицкой улицы, насупротив семинарии, которая стоит тоже на углу этой же площади и отлогого спуска к крутому берегу, где был наш дом.

Вход в гимназию посреди фасада, обращенного на площадь, по нескольким ступеням вводил в длинный коридор, разделявший здание на две половины: тотчас же налево была дверь в первый класс с окнами на площадь, а из него дверь во второй с окнами на задний двор. Над этими классами по тому же плану в верхнем этаже были размещены третий и четвертый, также соединенные дверью. Правая сторона здания внизу была занята двумя квартирами для учителей гимназии: в обращенной на площадь жил Меркушов, а в задней – Зоммер. Над ними в верхнем этаже была актовая зала с библиотекой и физическим кабинетом.

Наш директор, Григорий Абрамович Протопопов, человек пожилой, приземистый и коренастый, бывший прежде преподавателем математики в казанском университете, занимал квартиру не в гимназии, а на Московской улице при уездном училище на дворе в каменном флигеле, с большим тенистым садом назади, выходившем своею стеною на Троицкую улицу, дома за четыре до гимназии. На том же дворе занимала квартиру и Марья Алексеевна Лебедева со своим пансионом, куда некогда я ходил учиться у нее и у Кастора Никифоровича. Что же касается до уездного училища, то оно помещалось в большом двухэтажном каменном доме, выходившем на Московскую улицу. В этом же здании были квартиры для преподавателей училища и гимназии.

Директор Григорий Абрамович ежедневно посещал гимназию, большею частью в утренние часы. Он шел медленным шагом с Московской улицы на площадь, заложивши руки назад с тростию и понунив голову, летом в форменном фраке, а зимой в зеленой бекеше с енотовым воротником, и проходил под окнами первого и третьего классов, чтобы подняться на крыльцо гимназии, так что мы всегда знали о его приближении, и он не мог застать нас врасплох.

Система гимназического обучения согласовалась с продолжительностью двухчасового урока.

Учителю предоставлялось очень подробно и не спеша излагать содержание каждого параграфа в руководстве и заставлять учеников по несколько раз пересказывать это изложение, так что от многократного повторения заданный урок был уже готов к следующему классу без затверживания его на дому. Особенно удавался этот метод в классах математики, логики и риторики. Очень хорошо помню, что мне никогда не приходилось дома готовиться к урокам алгебры и геометрии, и я был из лучших учеников у Василия Филипповича Меркушова. Какой-то учебник логики и риторики Кошанского были у нас в руках только во время класса, и мы шутя заучивали все, что было нам надобно, со слов преподавателя этих пред-

метов, Насона Петровича Евтропова. В логике забавляли нас различные виды силлогизмов, и мы любили между собою играть в сориты, энтелиеммы, дилеммы и в разные софизмы, завязывая и распутывая хитросплетенные узлы умозаключений. Точно так же игрывали мы в так называемые «общие места» и в тропы и фигуры, выдумывая свои собственные примеры для этих терминов.

Двухчасовой урок давал много простора практическим упражнениям. В классах французского и немецкого языков мы сидели больше с пером в руке, нежели за книгою: то писали под диктант, то списывали из хрестоматии, то переводили на русский язык. Учитель латинского языка прочитывал с грамматическим разбором несколько строк из Корнелия Непота или из Саллюстия, и сначала мы переводили на словах, а вслед за тем тут же в классе и письменно, и таким образом вполне облегчалось нам приготовление заданного урока. По латыни мы не шли дальше этих двух писателей. Учителя истории и словесности также упражняли нас постоянно в практических занятиях. В уроках Знаменского (не помню его имени и отчества) мы успели прочесть несколько томов «Истории государства Российского» Карамзина: иногда он сам читал, но обыкновенно – кто-нибудь из учеников, а другие слушали. Вместо истории русской словесности, которой впрочем тогда вовсе и не существовало в ученой литературе, Евтропов читал с нами сам или заставлял читать кого-нибудь из нас произведения писателей как старинных, например, Ломоносова. Державина, Фонвизина, так и особенно новейших, какими тогда были Батюшков, Жуковский, Пушкин; очень любили мы и наш учитель повести Бестужева (Марлинского) за игривость и бойкость слога, испещренного цветистыми украшениями, которые тогда вовсе не казались нам вычурными. На гимназической же скамье узнали мы в первый раз и Гоголя по его «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Эти повести читал нам в классе с большим воодушевлением товарищ наш, Татаринцов; но они мне тогда не понравились, потому ли, что я не умел войти в обстановку изображаемого в них малороссийского быта, или же потому, что не понимал всей прелести совершенно нового для меня изящного их стиля.

В ту пору господствовал очень хороший обычай, вызванный и поддерживаемый условиями времени, который много способствовал укреплению нас в правописании и давал обильный материал для выработки нашей речи и слога. Книги были тогда редкостью; они были наперечет; книжной лавки в Пензе не находилось, а когда достанешь у кого-нибудь желаемую книгу, дорожишь ею как диковинкою и перед тем, как воротить ее назад, непременно для себя сделаешь из нее несколько выписок, а иногда и целую повесть или поэму в стихах, не говоря уже о мелких стихотворениях, из которых мы составляли в своих тетрадках, в восьмую долю листа, целые сборники. Таким образом, у каждого из нас была своя рукописная библиотечка.

Эта литературная забава способствовала развитию в нас охоты к сочинительству, которою Евтропов умел пользоваться с успехом, постоянно упражняя нас в письменных работах. Темы для них, разумеется, он давал сам, но иногда позволял нам брать и свои. Сочинения эти мы обыкновенно писали в классе, если они небольшого размера, а более обстоятельные изготовляли на дому.

При этом не могу умолчать об одном курьезном анекдоте, чтобы дать вам понятие о простоте нравов в учебных заведениях того далекого наивного времени. В четвертом классе был у нас один товарищ, по фамилии Озеров, годами двумя старше меня, из хорошей дворянской семьи, серьезный и даровитый. Он написал такое удачное по содержанию и слогу сочинение, что Евтропов не мог довольно им нахвалиться, и для примера и поощрения принес и прочел его в классе ученицам женского пансиона госпожи Ломбар, в котором он давал уроки русской словесности. Девушки пришли в восторг и горели нетерпением взглянуть на автора этого гениального произведения, а дочка содержательницы пансиона, лет пятнадцати, учившаяся вместе с другими ученицами, страстно влюбилась в него заочно.

Во что бы то ни стало, а надобно было непременно его увидеть. Пансион был недалеко от гимназии, минут пять, много десять, ходьбы. Надобно было так устроить послеобеденные ежедневные прогулки пансионеров мимо гимназии, чтобы встретить учеников, когда они в четыре часа выходят из классов на улицу. Этот план удался как нельзя лучше, и Озеров с девицею Ломбар сделались героем и героинею самого интересного для гимназистов и пансионеров романа.

Эти прогулки и встречи продолжались очень не долго; вероятно, в пансионе приняты были надлежащие меры для обуздания страстей и для успокоения умов. Но в наших глазах небывалый успех Озерова сделался предметом соревнования и подражания. Каждому хотелось попасть в герои, и нас обуяла непреодолимая рьяность сочинительства. Каждый питал надежду, что его произведение увенчается такою же наградой от прекрасных ценителей. У нас в классе производилось настоящее состязание трубадуров, и мы наперерыв рекомендовали свои литературные способности нашему учителю. И я представил ему опыт своего восторженного измышления, но, к великому моему оскорблению, Евтропов не только не одобрил мое писание, но пришел в удивление и много издевался надо мною, как могли мне затесаться в голову такие трескучие фразы с пустозвонными эпитетами, невообразимыми метафорами и с чудовищными гиперболами. Должно быть, в излишнем усердии я перехитрил самого Бестужева-Марлинского и хватил через край. Впрочем, данный мне нагонный пошел мне впрок: я стал бережливее на красивые словечки и осторожнее в их выборе.

Однако влияние Озерова принесло и свою долю существенной для нас пользы. Невзирая на очевидную взаимность в любви, он чувствовал непреодолимую потребность страдать и терзать себя. Самый лучший способ для воспроизведения над собою этих опытов истязания он нашел в чтении Гётева романа: «Страдания молодого Вертера», разумеется, в русском переводе, изданном в начале нашего столетия, в шестнадцатую долю листа; и все мы, не переставая подражать Озерову, перечитали эту небольшую книжку. Таким образом, еще будучи гимназистом, я познакомился с этим великим произведением Гёте.

Практический метод, обусловливаемый двухчасовым уроком, давал много льготы и учителю, и ученикам, которая могла бы вести к полезным результатам, если бы не была злоупотребляема.

Большую часть времени в гимназии мы проводили сами по себе, так сказать, по методу взаимного обучения, без надлежащего руководства и наблюдения со стороны учителей. Мы слушали, что один из нас читал, а то и сами читали, каждый про себя, или же что-нибудь списывали, переводили с иностранных языков на русский, изготовляли свои сочинения. Между тем учителя ходили взад и вперед по классу и разговаривали между собою, всегда двое: в нижнем этаже — учителя первого и второго классов, а в верхнем — третьего и четвертого; внизу обыкновенно избирался для прогуливания второй класс, а в верхнем — четвертый. Потому в обоих этих классах наши оригинальные опыты льготного взаимного обучения несколько нарушались хотя бы и пассивным надзором находившихся налицо учителей, которые сновали из стороны в сторону перед нашими скамейками, впрочем, мало обращая на нас внимания.

Любопытное исключение составлял преподаватель физики, минералогии и ботаники, Нил Михайлович Филатов, человек очень образованный и довольно богатый помещик. Искалеченный и хромоногий, он не мог и думать о военной карьере, которой обыкновенно предназначали себя тогдашние молодые люди из зажиточных дворян, но, желая получить чин по выходе из университета, искал себе какую-нибудь приличную и притом самую легкую службу, и не нашел себе ничего лучшего, как быть учителем гимназии. Он был очень добр и ласков с нами, и мы любили его. По своей искалеченности, он не мог забавляться прогулками по классу с своими товарищами и был принужден сидеть за учительским столом перед нашими скамейками. Впрочем, он несколько не мешал нашему взаимному обучению,

потому что постоянно был углублен в чтение французских романов. Для нашего развлечения он позволял нам рассматривать разные породы минералов или же делать физические опыты при помощи снарядов и машин, которые тогда приносились в наш класс. От уроков естественной истории остались у меня в памяти только одни разрозненные термины, без всякого смысла тогда задолбленные: излом кварца, поляризация призмы, явнобрачные и тайнобрачные растения и т. п. Впрочем, самое главное о ботанике сообщу вам потом, когда буду рассказывать о наших забавах, увеселениях и загородных прогулках.

Долг справедливости заставляет меня присовокупить, что из числа наших учителей были двое таких, которые в течение всего двухчасового урока ни на минуту не оставляли нас без своего внимательного надзора и строго исполняли свои обязанности, а именно: во-первых, Зоммер, неукоснительно соблюдавший во всех своих действиях и поступках врожденную его натуре немецкую аккуратность, и, во-вторых, законоучитель, который, без сомнения, находил неприличным достоинству своего духовного звания неуместное праздношатание взад и вперед по классу.

Решительно не понимаю, как могло случаться, что директор, являясь в гимназию, ни разу не заставлял нас врасплох. Только что появится он у нас перед окнами, тотчас же по всем классам разносится осторожный шепот: «Григорий Абрамович! Григорий Абрамович!» Учителя опрометью спешат, каждый на свое место, ученики наскоро убирают со столов всякий свой хлам и чинно рассаживаются, насторожив глаза и уши. Директор, разумеется, находит все в надлежащем порядке, послушает немножко учителя, у кого-нибудь из нас заглянет в книгу или в тетрадку, одного погладит по головке, а другому для острастки даст выговор. Тем дело и кончалось. Директор уходил, и мы, ученики и учителя, опять принимаемся за свое.

В моей памяти живо сохраняются следы впечатлений, которые ежедневно были производимы на нас такими комическими сценами. Мы видели и понимали укрывательство и фальшь наших наставников, но не замечали ничего предосудительного в их поступках, ничего такого, что могло бы в наших глазах унизить их достоинство. Все это нам нравилось и нас забавляло; мы даже еще больше любили своих учителей, видя в них удобных сообщников нашего веселого времяпровождения в классе, и тем охотнее и услужливее помогали им при каждом неприятельском нашествии, нарушавшем ровное течение наших гимназических порядков.

И как же мы любили свою милую гимназию! В «неурочное» время, то есть, когда не сидели мы смирно на скамьях перед учителем, считали мы ее своею собственностью, которую никто и не думал отнимать у нас, потому что тогда еще не было ни классных надзирателей и наблюдателей, ни инспекторов, ни всякой другой напасти. Было только всего два служителя из солдат, по одному на каждый этаж, но это были свои люди, они нам мирволили, хорошо разумея, в простоте сердца, что «вольному воля»: пускай, дескать, ребята тешатся. В стены гимназии манили нас резвые наши сходбища для игр и забав; тут же был сборный пункт, откуда направлялись наши увеселительные похождения.

Рано поутру, никак не позже семи часов, вскакивали мы с постели и, наскоро снарядившись, спешили в гимназию учиться и по малой мере за полчаса до начала уроков были уже почти в полном сборе. Надобно вам знать, что тогда не было у нас в Пензе обычая рано поутру поить детей чаем, да и некому было этим распорядиться, потому что старшие в доме еще не вставали. Для утоления нашего голода каждому из нас накануне выдавали они по медному грошу. Подбегая к гимназии, мы покупали себе по довольно объемистой булке у старухи, которая тут же у крыльца ждала нас с своей коробьей, наполненной этим снадобьем, и затем размещались по классам. Таким образом, каждый учебный день начинался у нас товарищескою трапезой.

Через несколько лет потом живо припомнилась мне эта пензенская старушка, когда в первый раз посетил я Лейпцигский университет, в 1839 году. Проходя по длинному коридору, ведущему в аудиторию, я увидел такую же услужливую старушку, но уже немку, в чепчике с широкими оборками, которая у прилавка кормила студентов бутербродами.

По мере того, как мы, переходя из класса в класс, возрастали и развивались физически и нравственно, менялись и наши игры и забавы, улучшались и облагораживались, постепенно переходя от буйной отваги и задорных шалостей к безобидному веселью и приятному препровождению времени.

В нижнем этаже гимназии постоянно господствовало воинственное настроение духа, вызванное и постоянно поддерживаемое непримиримой враждою между первым и вторым классами; раз объявленная война никогда не прекращалась. Образцом военных действий служили для нас кулачные бои, которые по зимам в праздники затевались у слободских мужиков на ледяной поверхности реки Пензы. Мы всегда присутствовали на этих доморощенных турнирах и восхищались молодечеством удалых бойцов; но особенно интересовали нас ряды храбрых мальчишек, которые с криком и гамом геройски предшествовали каждой из двух вступающих в бой армий. Мы решительно завидовали этим маленьким героям, присматривались к их ухваткам и размахам и горели нетерпением подражать им. Это была хорошая школа для наших военных экзерциций. Поприщем наших неприятельских стычек были двери, которые соединяют и вместе разделяют оба класса. Мы настолько знали историю Греции, что прозвали этот проход нашими Фермопилами. Из подробностей наших подвигов застряла в моей памяти одна, довольно характеристическая. Когда в пылу сражения от натиска врагов иной раз становилось нам плохо, нас выручал из беды один из наших ратников, который пускал тогда в дело изобретенный им самим метательный снаряд. Этот искусный метальщик, по фамилии Беляев, маленький и юркий, до поры до времени прятался в толпе, но лишь наставала опасность — откуда ни возьмется и очутится впереди, мгновенно прижмет указательным перстом правой руки правую ноздрю своего носа, а из левой в тот же момент стрельнет густым потоком прямо в лицо надменному предводителю врагов и залепит ему глаза. Пользуясь наступившею затем минутою смятения в неприятельских рядах, мы вламываемся в Фермопильское ущелье и победоносно вступаем в завоеванное нами государство.

Самое подходящее для наших потех и удовольствий время был двухчасовой промежуток, отделяющий утренние уроки от послеобеденного. Наскоро отобедавши, бегом возвращались мы в гимназию за час, а иногда и за полтора до начала урока. В это время мы обыкновенно затевали разные увеселительные экспедиции, для которых хорошо умели пользоваться гористою местностью Пензы и особенно березового рощею, или так называемым «гуляньем», отстоявшим от гимназии минут на пять, много на десять, для наших прытких ног.

Одною из любимых забав, преимущественно для гимназистов низших классов, было в зимнее время катанье с горы. Надобно было перебежать наискосок по площади к упомянутому уже мною театру Гладкова, чтобы очутиться у большого пустыря, который от площади спускается крутою горою к садам и огородам улицы, тянущейся вниз вдоль уступа, который потом ниспадает к речному берегу. Летом этот спуск был покрыт густою травой, а зимою ровною и гладкою поверхностью снега, который, будучи обращен на юг, под лучами солнца немножко подтаивал, а за ночь леденел, и по мере того, как напал новый снег и в свою очередь леденел, этот спуск сам собою обращался в нерукотворенную ледяную гору. Когда нужно было кому здесь пробраться с площади вниз или снизу наверх, на левой стороне этого пустыря у плетня была протоптана дорожка. Вот по этой-то ледяной горе мы и катались. Салазок мы не употребляли, да и негде было их взять: мы ведь сбегались из классов гимна-

зии. В своих тулупчиках и капотах мы просто-напросто садились на лед и стремглав катились вниз.

По случаю наших капотов замечу мимоходом, что беззаботная распушенность гимназических нравов облекалась тогда разнокалиберного бесформенностью костюма.

Из потех на катаньях с ледяной горы упомяну вам об одном фокусе, достойном любого клоуна. Был у нас товарищ (фамилии не припомню) с виду карапузик, но лихой головорез и преуморительный шут. Он рассудительно находил, что ёрзая с горы сидючи, как раз прошмыгаешь одежду насквозь; потому из экономии он предпочитал изнашивать свой тулупчик так, чтобы трение по льду доставалось не сиденью только, но равномерно и рукавам, и спине, и обеим полам. В этих видах он ложился поперек спуска горы и, вытянувшись, стремительно катился кубарем вниз; когда же потом он вскакивал, то от головокружения не мог держаться на ногах и валился на снег, потом опять вскакивал и опять падал, производя эту попытку до тех пор, пока не станет твердо обеими ногами; затем, раскинув обе руки, будто крылья, начинает вертеться волчком, но уже в другую сторону, противоположно той, в которую он скатывался с горы. Это он делал для того, чтобы развинтить свою голову, которая чересчур закрутилась от скатыванья, и сделать ее годною для употребления.

С ранней весны и до поздней осени, за исключением каникул, разгульное приволье нам давала наша милая березовая роща, с теми покрытыми кустарником спусками к кладбищу Боголюбской Божией Матери, о которых я упомянул вам прежде. В течение всего гимназического курса роща эта была немою свидетельницею нашего постепенного физического и нравственного развития и усовершенствования, начиная от детских шалостей и буйных забав мальчишества до благонравной чинности добропорядочного юношества, которое и в веселых досугах знает цену времени и умеет соединять приятное с полезным.

Ученики младшего возраста, бывало, со всего разбега гурьбою врываются в рощу и стремглав рассыпаются в разные стороны, оглашая воздух криками, гамом и хохотом; куда ни обернешься, везде кишат резвые бегуны: тот карабкается на дерево, а тот уж высоко сидит верхом на толстом сучке; другой лезет за ним, чтобы стащить его за ногу; там один кувыркается вверх тормашками, упираясь головою в землю, а там двое или трое упражняются в искусстве вертеться колесом, прыгая вбок попеременно обеими руками и обеими ногами. Иные уже затеяли кулачный бой, но не толпою, как в «Фермопилах», не стена на стену, а врассыпную, единоборством: там сражаются две враждебные армии, а здесь производятся опыты в гимнастических упражнениях. Любезное дело – драться на просторе: рука бьет широким размахом, да и бороться льготнее – шлепнешься не на жесткий пол, а на густую траву.

Но вот кипучая рьяность неукротимых молодых сил начинает утомляться: и руки примахались чуть не до вывиха, и ноги оттоптались, зудят и немеют; жара проникает насквозь, и в горле у всех пересохло. Одолевает жажда: так и тянет освежиться хоть единым глоточком. Но где добыть пойла? Не знаю, как теперь, а тогда в нашей роще не было ни водоема с фонтаном, ни ключей, ни источников. Но шалуны знают, как помочь горю. Стоит лишь выбрать березу, не старую, не кряковистую, с заматерелою, глубокими морщинами изрытою корою, а такую, чтобы была среднего возраста, с белою и гладкою берестою. Один из товарищей, который поискуснее и ловчее, аккуратно пробуравит перочинным ножиком в той березе довольно глубокое отверстие, так, чтобы из него хлынуло березовым соком. Каждый из нас поочередно прикладывается губами к этому отверстию и высасывает свою порцию этого слащавого пойла, довольствуясь немногими его каплями.

Необузданная юркость туда и сюда мечущейся шаловливой отваги другой раз принимает определенное направление к намеченной цели. Тогда замышляется план и немедленно приводится в действие каким-нибудь ухорским набегом. Например. Со стороны городской площади подходили тогда сады с куртинами цветов, прямо к нашей роще, отделенные от нее

невысокой изгородью. Здесь была всегдашняя приманка для опустошительных погромов. Как стая хищных птиц, маленькие грабители одним взмахом через изгородь набрасываются на куртины, топчут и рвут цветы, кто со стеблями только, а кто вытягивает и с корнем. Последнее предпочиталось, потому что тогда растение можно было пересадить у себя на дому. Время для опасной потехи самое удобное: садовники после обеда в час пополудни отдыхают и спят; впрочем, не всегда благополучно приходилось улизнуть от погони.

Однажды в минуты побега случилась было нешуточная катастрофа, грозившая великою бедою. Меня там не было, и расскажу вам так, как передавали мне товарищи.

При этом я должен заметить мимоходом, что в отчаянных шалостях, доходящих до буйства, я не принимал участия, потому ли, что от природы был опаслив и осторожен, или потому, что раннее обучение в женской школе Марьи Алексеевны Лебедевой, сообща с девочками, придало моему нраву какую-то мягкость и робкую застенчивость, или же, наконец, и потому, что я безусловно, покорялся, предусмотрительным советам и заботливым внушениям моей милой матушки.

Итак, наши хищники, почуяв погоню, мигом дали тягу и помчались во всю прыть с награбленною добычей. Их было человек пять, в том числе и сам Беляев. Наш отчаянный метальщик совершил в этом побеге геройский подвиг, превосшедший все другие небывалою дерзостью, и спас себя и товарищей от богатырских кулаков гнавшегося за ними по пятам здорового парня. Каждый момент грозил неминуею бедою. Беляев, как самый юркий, разумеется, бежал впереди своих товарищей. Вдруг он повернулся назад и стал как вкопанный, а в правой руке у него длинное растение с мохнатым корнем, запорошенным землею и песком. И только что товарищи промелькнули мимо него, он очутился как раз перед парнем и хватил его корнем прямо в лицо, ослепив ему глаза песком. Ошеломленный парень попятился и бросился в сторону. Тем погоня и кончилась.

Для увеселительных походов были и другие интересы, хотя и не такого буйного, наезднического характера, но все же далеко не безобидные, всякий раз, как только задорная шаловливость выступит из границ и бьет через край. В мае месяце, когда певчие птички (мы их звали малиновками и пеночками) в своих теплых гнездышках кладут яйца и выводят детенышей, сорванцы направляли свои набег в густые кустарники на тот изрытый ямами и промоинами крутой спуск, который от «гулянья» ниспадает к кладбищу Боголюбской Божией Матери. Здесь потешались они охотою на певчих птиц.

Враспынную шныряют они по кустам, забираясь в самую густую, непроходимую их чащу, где добыча вернее, подползают под наклоненные, стелющиеся по земле ветви и, как ищейки, обнюхивают и подслушивают, насторожив уши. Это они выслеживают, не попадется ли гнездышко: птичка свивает его в самой глухой чаще, иная при стволе на том месте, откуда разветвляются сучка два или три, а иная совсем на земле у самого корня деревца, в прошлогодних сухих листьях. Охота ведется в полнейшей тишине и молчании: главная задача не в том, чтобы найти гнездо с яичками или еще лучше с детенышами, но и особенно в том, чтобы накрыть в нем и самоё матку. Последнее было одною мечтою, но первое иногда удавалось, — впрочем, весьма редко. Самые неудачи и трудности в хлопотах о добыче только разжигали стремление к поискам и обостряли соревнование. Счастливцу завидовали, и всякий хотел удостовериться в его находке и непременно совал свой нос в гнездышко, чтобы взглянуть на содержимое в нем. Особенно живо представляется в моей памяти одна подробность, не раз повторявшаяся в этой охоте. Когда взбалмошные мальчуганы, разграбив гнездо, бывало, в триумфе возвращаются с своею добычею, осиротелая матка вслед за ними и около второпях тревожно перепархивает с кустика на кустик, а сама таково жалобно и тоскливо почиливает, как есть — причитает и навзрыд плачет горемычная мать на похоронах своего детища. Потеха разорять птичьи гнезда всегда была мне не по сердцу, да и кое-кому и другим из моих товарищей.

Я уже говорил вам, что эти мальчишеские шалости не могли больше нас привлекать в рошу, когда, перешедши в старший класс, мы начинали чувствовать себя более степенными и благовоспитанными. Для нас было довольно и тех прогулок, которые предпринимал в ней вместе с нами наш милый учитель, Нил Михайлович Филатов, для практического, наглядного изучения ботаники; но по своей хромоте поспевать за нами он не мог и обыкновенно усаживался на лавочке где-нибудь в тени берез и преспокойно почитывал свой французский роман, а нас отпускал гулять по роше в продолжение всего двухчасового урока, который всегда назначался после обеда. Этого времени было нам вдоволь и для дружеских бесед, и для занимательного, а иногда и полезного чтения, так как каждый из нас приносил с собою какую-нибудь книжку, обыкновенно небольшого формата, чтобы укладывалась в задний карман сюртука. Так прочел я больше половины «Писем русского путешественника», по изданию в 16-ю долю листа, в часы наших ботанических уроков.

Заговорившись с вами не в меру о пустяшных мелочах школьного житья-бытья, наконец-то очень радуюсь, что довел свою речь до более серьезного и существенного. Итак, расскажу вам, что я читал и как понимал прочитанное.

Но сначала я должен познакомить вас с происхождением и составлением книжного запаса, каким я мог располагать. У моей матушки была своя собственная маленькая библиотечка, так сказать, фундаментальная, которая потом изредка и случайно пополнялась новыми изданиями. Она состояла из старинных книг XVIII века и досталась ей по наследству от моего деда и отца, который принадлежал, говоря относительно и в самом умеренном скромном смысле, к образованной молодежи уездного города Керенска. О степени его развитости я могу судить по его товарищам и друзьям, которые десятками лет пережили его и которых я хорошо знал. Это были мой двоюродный дядя, Андрей Сергеевич Сергеев, и помещик Керенского уезда, Иван Асафович Броницкий, сын которого, Александр Иванович, женатый на княжне Енгальчевой, был помощником библиотекаря в библиотеке Московского университета. Когда я учился в гимназии, мы с матушкой часто бывали у моего дяди в Керенске, и я хорошо помню его довольно большую библиотеку, размещенную на полках в двух шкафах, под стеклом. Тут впервые увидел я многотомные издания «Образцовых Сочинений» и «Российской Вивлиофики», а также «Московский Телеграф» Полевого и «Телескоп» Надеждина.

Книжная и всякая другая образованность и культура переходила тогда и распространялась по уездным и губернским городам из дворянских поместий. Верстах в двадцати от Керенска у дворянского предводителя, Алексея Ивановича Ранцова, была громадная библиотека старинных французских изданий и собрание гравюр в папках. Провинциальный мелкий люд пользовался от богатых помещиков не одними модами и книжною и всякою другою новизною, но и вообще удобствами жизни в удовлетворении своих потребностей более развитого культурного свойства. Так, например, у нас в Пензе была очень искусная кухарка из дворовых, потому что матушка отдавала ее учиться стряпать у поваров одного богатого помещика. Матушка любила музыку и желала, чтобы я выучился играть на гитаре. Фортепианы составляли тогда принадлежность зажиточных дворян, а гитара и небогатым была по карману; к тому же была она тогда и в моде. Учителя на этом инструменте матушка добыла мне тоже из помещичьей усадьбы, отставного арфиста, состоявшего некогда музыкантом в боярском оркестре. Это был высокий, худощавый старичок, очень опрятный и деликатный, в длинном суконном сюртуке синего цвета и в высоком белом галстуке. От той далекой поры засел в моей памяти разученный мною тогда знаменитый дуэт Дон Жуана с Церлиною из оперы Моцарта. Понадобилось матушке учить меня танцам: в Пензу явился один молодой, вертлявый франт, по фамилии Скоробогатов, из балетных плясунов тоже какого-то домашнего театра, и я получил от этого крепостного артиста первые уроки в танцевальном искусстве, впрочем, по мнению матушки, недостаточно удовлетворительные.

Из наследственной библиотечки моей матушки назову сначала книги обиходные, т. е. справочные и настольные.

А именно: «Сонник», содержащий в себе подробное объяснение и толкование всевозможных сновидений; книга «Соломон», с изображенным на первой странице человеческим лицом в кругу, для известного гадания посредством воскового шарика, который бросают на эту фигуру. Потом Брюсов календарь с подробными на каждый месяц характеристиками темперамента, характера и нрава родившихся и с предсказаниями о их судьбе. Брюса почитали тогда великим чародеем и всезнайкою и верили ему на слово. Матушка не в шутку принимала к сведению мой гороскоп, который находила в его календаре под апрелем месяцем. Далее – «Песенник», толстая книга, в большую осьмушку, от многолетнего употребления сильно затасканная, изорванная и засаленная. Тогда простонародная поэзия еще шла об руку с искусственной или образованною, и в этом издании между народными и полународными, или, точнее, лакейскими и мещанскими песнями матушка отыскивала и бывшие тогда в моде романсы. У нее был хороший голос и музыкальный слух, и она любила за рукодельем сопровождать свою работу пением. Мне доставляет удовольствие припомнить теперь некоторые из ее любимых песенок, может быть, и с ошибками, но именно так, как они остались в моей памяти от того далекого времени.

Среди долины ровныя на гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...

Взвейся выше, понесися,
Сизокрылый голубок...

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь...

Дубрава шумит, собираются тучи
На берег зыбучий...

Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала...

Всех цветочков боле
Розу я любил...

На толь, чтобы печали
В любви нам находить...

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

К этому же разряду настольных и справочных книг надобно отнести еще две другие, которых мы с матушкой хотя и не читали, даже не перелистывали для справок, но она берегла их обе в сохранности, как великую драгоценность в память о моем отце, вместе с теми семейными документами, на которые я уже ссылался, когда упомянул о моем пращуре. Эти книги были: «Уложение царя Алексея Михайловича» и «Екатерининский Наказ». До издания «Свода Законов» подьячие у нас в Керенске пользовались в делопроизводстве этими обоими законодательствами, дополняя их выходившими в течение многих лет правительственными указами. Тот считался хорошим дельцом, кто умел справиться с этой громадной массой отдельных узаконений. Мой отец, как передавали мне дядя Андрей Сергеевич и Броницкий, хотя и умер в молодых годах, но был великий мастер в этом деле.

Пора, однако, обратиться к книгам, которые служили нам не для одних только справок, но и для настоящего чтения, полезного и приятного.

Из самого раннего детства очень хорошо помню я балагурную книжку: «Не любо – не слушай, а лгать не мешай», и презанятный по коловратным запутанностям интриги роман «Английский милорд Георг». С таким обаятельным увлечением наслаждался я этим романом, что он решительно взбаламутил мое воображение и чувства до крайней степени напряженности. И до сих пор живо представляется мне один из кризисов этого раздражения. Дело было вечером при свечах. С сердечным увлечением разделяя горе и радости моего героя, я читал тогда, как он в сладостной надежде на близкое свидание с обожаемой им красавицей вдруг очутился в подземелье захваченный своими врагами. Как раз на этом месте чтение мое было прервано матушкой, которая, вышедши из столовой, позвала меня ужинать. Мы сели за стол вдвоем (обе девочки, мои сестры, в это позднее время обыкновенно уже спали). Только что стали мы ужинать, как я разразился горьким плачем навзрыд. Матушка в испуге бросилась ко мне, спрашивает, что со мною? «Ничего, – отвечаю я, продолжая рыдать и всхлипывать, – теперь уж все прошло: это я укусил себе язык, страх как больно». Мне уж очень стыдно было перед матушкой признаться в своей плаксивой сентиментальности.

С той же ранней поры я знал о существовании Робинзона Крузэ и Дон-Кишота (так называли тогда Дон-Кихота), с присоединением немногих подробностей о их похождении; только не помню, откуда получил я эти сведения, – сам ли я читал, или слышал от матушки. Надобно вам знать, что после Ясона Петровича Евтропова она была для меня главной воспитательницею и наставницею в литературе. Большую часть поэтических произведений в стихах и прозе мы читали с нею вместе, попеременно – то она, то я. Матушка особенно любила слушать мое чтение, сидя рядом со мной за рукодельем.

Хотя и увлекалась она сентиментальностями XVIII века, во вкусе Жан-Жака Руссо, Карамзина или князя Долгорукова, но отдавала решительное предпочтение новым веяниям романтизма в произведениях Жуковского, и многие из его баллад знала наизусть и любила их декламировать. Из сентиментальных произведений самую избранною, самую любимую ее книгою, которой никогда не могла начитать досыта, было собрание стихотворений князя Долгорукова, под чувствительным заглавием «Бытие моего сердца». Никогда не мог я забыть, с какой сердечною искренностью и со слезами на глазах, в минуты тяжелого раздумья, читала она наизусть:

Вот здесь, когда меня не будет,
Вот здесь уляжется мой прах.

В этих стихах князь Долгоруков указывает на то кладбище, где будет он похоронен, а именно Дорогомиловское, около Москвы по Смоленскому шоссе. Не знаю, там ли его могила, но мое заключение основываю на следующем соображении. Еще в 40-50-х годах в Москве на Плющихе, на правой стороне, если идти от Смоленского рынка, резко отличалась от соседних домов одна обширная барская усадьба. К улице выходила она большим широким двором, покрытым в летнюю пору зеленой травой. В углублении двора тянулся длинный одноэтажный деревянный дом, какие бывали у помещиков в деревнях, с двумя подъездами, один на правой стороне, а другой на левой; вдоль окон поднимались кусты бузины и сирени; по лугу на дворе часто можно было видеть бродящую корову. По ту сторону дома спускается по высокому и крутому берегу Москвы-реки фруктовый сад. Отсюда из окон открывался бесподобный вид на Поклонную гору, а внизу направо на Дорогомиловское кладбище. Дом этот принадлежал поэту князю Долгорукову, и в нем жил он со своим семейством. Из окон кабинета он видел постоянно то кладбище, которое воспел в своих стихах. В течение многих лет, квартируя в переулках около Арбата, я часто гулял по Плющихе и заходил иногда в усадьбу князя Долгорукова, тогда уже опустелую, и всякий раз подолгу любовался широкою панорамой окрестностей Москвы по ту сторону дома, вспоминая заветные стихи. И чудился мне милый голос моей матушки: «Вот здесь, когда меня не будет...»

Из старинных, унаследованных моею матушкой книг я назову еще две; это были «Потерянный рай» Мильтона и «Четыре времени года» Томсона, – первая в большую осьмушку, а вторая в 16-ю долю листа. Ту и другую попеременно читал я в нашей «гимназической роще», как раз в то время, когда Озеров растревлял свое истерзанное сердце «Страданиями молодого Вертера». Этим протестом я думал заявить мое полнейшее равнодушие к соревнованию, а также и решительное презрение к его женоподобным слабостям. Но попытка моя оказалась тщетною, и мне не удалось пустить в моду между товарищами эти достопочтенные, пресловутые произведения.

Мне особенно полюбился перевод «Потерянного рая» торжественным слогом, вместе и высокопарным, и – так сказать – корявым. Впоследствии, лет через тридцать, мне пришлось увидеть экземпляр этого старинного издания в Москве на рынке под Сухаревою башнею. Однажды, пересматривая книжное старье, размещенное букинистом на столе, я услышал за собою скромный, но и внушительный голос: «А нет ли здесь «Потерянного рая»?» Я обернулся и вижу – стоят два молодых парня, с небольшими бородками, в длинных кафтанах, оба такие благообразные, пристойные. Здесь не нашли они своего «Рая» и направились далее к другим столам с книгами; я последовал за ними. Поиски их увенчались успехом, и они с удовольствием заплатили свой полтинник за эту редкую книгу. Удивителен русский народ, загадочный и непостижимый.

Теперь перехожу от старинной литературы к современному для той далекой поры легкому и занятому чтению. Я уже сказал вам, что матушка особенно любила произведения Жуковского. Кроме его баллад, мы читали с ней «Двенадцать спящих дев», «Певца во стане русских воинов», но с особенным умилением до слез – «Сельское кладбище» Грея. Такое же умиленное чтение предлагал нам Батюшков в своем «Умиравшем Тассе», а Козлов – в «Чернеце» и в «Княгине Наталье Долгорукой». Живо помнится мне, с каким увлечением читали мы оба его же стихотворения:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...

Что касается до меня, то в этом произведении я видел отличный образец звукоподражательной поэзии и перелагал для себя его унылый тон на свой лад. Читая его наизусть, я не просто выговаривал слова, а как бы звонил ими, воображая себя сидящим на колокольне, вот таким темпом:

Дон-дон, дон-дон,
Дон-дум, дон-дон.

Обильную поживу для приятного и полезного чтения предлагали нам выходившие тогда ежегодно литературные сборники под названием альманахов, и из них особенно «Полярная Звезда». У матушки было два этих альманаха, не помню в точности за которые года: за 1822-й и за 1823-й или за 1823-й и за 1824-й. Если бы это вас заинтересовало, вы сами могли бы это решить по двум повестям Бестужева-Марлинского: в одном помещена была повесть «Ревельский турнир», а в другом – «Замок Нейгаузен». Ту и другую я давал списывать товарищам для их рукописных библиотек. С той поры, когда читал я эти альманахи, мне ни разу не случилось их видеть, а задумав рассказать вам мои воспоминания, я уже вовсе и не хотел их отыскивать для просмотра, из опасения, чтобы посторонним наплывом новых впечатлений не нарушить правдивости моего рассказа о том, что и как понимал я тогда в читаемой книге.

В этих двух «Полярных Звездах» я находил образчики всего лучшего, что создавалось тогда в русской литературе и впервые выходило в свет на страницах именно этих сборников: и стихотворения Пушкина, и басни Крылова, и, помнится, Жуковского отрывок из перевода «Орлеанской девы», а также и критические обзоры литературы, – кажется, Бестужева, и многое другое. Это была для меня бесподобная хрестоматия современной русской литературы, в высокой степени наставительная, – и столько же плодотворная своим художественным обаянием для моего нравственного совершенствования.

При этом почитаю не лишним сделать одно замечание, чтобы предупредить недоумение, которое, может быть, пришло вам теперь в голову: как позволялось и допускалось тогда, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, распространение изданий декабристов в читающей публике и даже между гимназистами. Вы еще более удивитесь, когда я скажу вам, что в стенах самой гимназии мы читали «Войнаровского» и «Думы» Рылеева и переписывали некоторые из них в тетрадки для своих рукописных собраний. При современном порядке вещей, в конце XIX столетия, конечно, очень трудно, почти невозможно представить себе многое из того, как жилось, думалось и чувствовалось в те старинные времена и в обстановке провинциальной глуши, куда я переносу вас своими воспоминаниями. Тогда никому и в голову не приходило соединять преступные деяния декабристов с их невинными литературными произведениями и еще тем более с такими изданиями их, как книжки «Полярной Звезды», в которых печатали свои новые произведения самые благонамеренные и безукоризненные в нравственном и политическом смысле писатели, как Жуковский, Крылов и многие другие, которых имена вы сами найдете, если вздумаете перелистать «Полярную Звезду». Скажу вам еще вот что. Читая и переписывая «Думы» Рылеева, мы, гимназисты, вовсе и не воображали, что Рылеев государственный преступник, и знать – не знали, что он был казнен. Напротив, он казался нам добрым патриотом, и я до сих пор помню начало его одной думы, которую мы все знали наизусть:

«Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!» –
Сусанину с гневом кричали враги.

Извините, если память обманула меня. За второй стих не ручаюсь.

Сверх того, мы вовсе и не знали, что такое декабристы, а если и слышали это название, то не придавали ему никакого смысла. В то время вообще не принято было говорить о предметах такого рода, даже считалось опасным; а если кому приходилось не только в обществе, но и у себя дома между своими сказать что-либо опасное, отзывающееся грозою, то говорилось шепотом, втихомолку, чтобы не слышать было не только прислуге, но и детям. Для примера расскажу один случай. В Пензу приехал ревизор, вовсе не знаю, для какой potrzeby и что именно ревизовать. О нем много шушукалось с соблюдением строжайшей тайны, но в этой тихомолке мне не раз звучалось слово «Горголи», должно быть, имя того таинственного обозревателя. Невольно сближая это слово с античною Горгоною или Медузою, я представлял себе этого грозного незнакомца безобразным страшилищем с длинными волосами наподобие змеиных хвостов. Я еще не знал тогда, что в произведениях классического искусства Греции и Рима лицо Горгоны всегда отличается если не полною красотою, то прелестью, которая переходит в оцепенелое наслаждение.

Это идиллическое настроение духа в непонимании различия между запрещенным цензурою и дозволенным не могло быть нарушено и тем, что мне привелось тогда познакомиться с одним великим произведением русской литературы по рукописному, а не печатному экземпляру. По принятому в то время обычаю составлять для себя собрание копий с печатных изданий, я полагал в простоте сердца, что и эта рукопись была того же разряда, нисколько не подозревая, что она содержала в себе сочинение, запрещенное для печати. То была комедия Грибоедова «Горе от ума». Дядя Андрей Сергеевич привез ее из Керенска матушке в подарок и сам читал ее нам, как мне тогда казалось, очень искусно и с большим одушевлением, ярко подчеркивая бойкие и занозливые эпиграммы Чацкого и смехотворные пошлости Фамусова, Скалозуба и Молчалина. При этом не могу не заметить, что многие из метких изречений Грибоедова, ставших потом всенародными пословицами, были и тогда уже оценены, подхвачены и разносились повсюду вслед за быстрым распространением копий. Доказательством тому служит захолустный Керенск, куда попала эта комедия, вероятно, из какой-нибудь барской усадьбы.

Хотя в Пензе не было книжного магазина, как я уже говорил вам, однако немногочисленная, так называемая образованная публика этого укромного губернского города настолько была развита и восприимчива к быстрым успехам русской литературы того православного Пушкинского периода, что мы могли стоять вровень с читателями других более торных и бойких средоточий русской жизни. Например, вам хорошо известно, что «Евгений Онегин» появился в печати не весь вдруг, а выходил постепенно, отдельными главами. Немедленно по отпечатании первой главы этого произведения, распространилась она по нашему городу во множестве экземпляров, из которых один – не знаю, какими судьбами – попал и к нам в виде тоненькой брошюры, в восьмую долю листа – как сейчас вижу – в желтой обертке.

Хорошо помню эту драгоценную брошюру потому, что матушка подарила ее мне, вместе с комедиею Грибоедова, для собственной моей библиотеки, которая, по заведенному между моими товарищами обычаю, состояла в рукописных копиях с печатных повестей и стихотворений, как я уже говорил вам об этом. Эта печатная брошюра не была исключением в моем рукописном собрании. Время от времени я обогащал и разнообразил его грошовыми лубочными изданиями забавных повестей и народных сказок с картинками. На эту потребу матушка давала мне изредка по гривеннику или двугривенному, поощряя мое пристрастие к книгам. В последние два года до поступления в университет я мог покупать этот дешевый товар у коробейников и на свои собственные, заработанные мною деньги. Я давал уроки, по одному часу в день, десятилетнему мальчику, сыну Любовцова, состоявшего советником в каком-то присутственном месте; за уроки получал в месяц по десяти

рублей ассигнациями, по-нынешнему три с полтиной, и всегда отдавал эти деньги матушке на хозяйство, и она каждый раз уделяла мне из этой суммы по двугривенному на покупку книжного хлама. Эти рукописные и ксилографические, а по-нашему лубочные, сокровища были у меня в надлежащем порядке помещены на полке, прилаженной к стене в детской комнате. Что же касается до книг моей матушки, то они сохранялись в длинном ящике, вышиною не более двух четвертей, называемом укладкою, который всегда стоял под кроватью. Вместо полка, держать домашнюю библиотеку в сундуке некогда было в обычае не только у нас, но и на Западе, как привелось мне видеть в кабинете некоего ученого мужа, относящегося к XVI веку, а теперь перенесенном сполна из какого-то монастыря в Зальцбургский исторический музей. Мне припомнилась тогда матушкина укладка. Но я уже слишком далеко увлекся от прерванного мною рассказа о чтении книг. Прошу припомнить: речь шла о новых, как говорится теперь, литературных веяниях, которые полстолетие назад были современными в истории цивилизации города Пензы. Нарасхват переходили тогда из рук в руки романы Загоскина «Юрий Милославский» и «Рославлев». Из таинственных замков, построенных фантазией госпожи Ратклиф, с привидениями, выходцами с того света и с разными другими диковинными похождениями и ухищренными загадками, эти новые русские романы переносили меня на твердую почву родной земли, в обстановку очевидной действительности, в понятия и интересы русской жизни и в ее историю. С тех пор мне ни разу не случилось прочитать ни того, ни другого из этих двух романов, но и теперь любовно припоминаю, как Кирша по глубоким сугробам шагал на пчельник к колдуну и как потом молодецки умчался на аргамаке. Из «Рославлева» застряли в моей памяти два пункта: во-первых, станция Завидово, куда прискакал на ямских какой-то заливхватский офицер, и во-вторых, с растрепанными волосами в одной рубашке женская фигура, которая диким голосом распевает: «Со святыми упокой». Я стоял тогда уже за исторический роман, который передо мною выводил на чистую воду помутившуюся фантазию моего «Английского милорда», но романа нравоописательного я не взлюбил, может быть, потому, что впервые познакомился с ним по «Ивану Выжигину» Булгарина. Впрочем, прошу вас не приписывать мне чести в прозорливом усмотрении недоброкачественных способностей автора: его навязчиво-поучительный роман был для меня просто скучен и вял. И в какое негодование пришел я, когда в «Библиотеке для Чтения» прочел гнусную, на мой взгляд, выходку барона Брамбеуса, будто бы исторический роман есть незаконнорожденный сын истории и поэзии. Из сказанного видите, что и в Пензе, несмотря на плохое учение в гимназии, я мог кое-как с грехом пополам ориентироваться в серьезных вопросах по теории словесности.

Я нарочно приберег к концу два таких капитальных произведения, которые и впоследствии оказали на меня заметное влияние в моих ученых работах. Мне случалось не однажды в разное время читать и просматривать то и другое; потому, чтобы не смешать ранних впечатлений моей юности с позднейшими, я не могу в точности указать вам, как и что именно интересовало меня в этих книгах, когда я читал и не раз перечитывал их в Пензе по экземплярам, хранившимся в матушкиной укладке.

Это были, во-первых, «Письмовник» Курганова, толстая книга, в большую осьмушку, и, во-вторых, «Письма русского путешественника» Карамзина, несколько томиков в 16-ю долю листа. С пылким увлечением, интересуясь в высшей степени занимательным для меня чтением того и другого сочинения, я, разумеется, не чувствовал и не мог понять, что оба они предлагали мне богатое и разнообразное содержание из истории европейской литературы чуть не от инкунабул XV века и до конца XVIII столетия. Письмовник Курганова был для меня настоящею энциклопедиею учебного, ученого и литературного содержания, а «Письма русского путешественника» – зеркалом, в котором отразилась вся европейская цивилизация. Карамзин казался мне самым просвещенным человеком в России, представителем той высокой степени развития, до которой она могла достигнуть в то время, настав-

ником и руководителем каждого из русских, кто пожелал бы сделаться человеком образованным. Эту мысль, проверенную мною на себе, когда я был еще гимназистом пятнадцати и шестнадцати лет, высказал я потом с кафедры московского университета в речи на Карамзинском юбилее, которую, если захотите, можете прочесть во второй части «Моих досугов».

Теперь перехожу к повествованию о последнем годе моего пребывания в Пензе по окончании гимназического курса. Для университетского экзамена я должен был пополнить свои скудные сведения и, сверх того, поучиться греческому языку, который тогда в пензенской гимназии не преподавался, но был обязателен для поступающих на филологический факультет, называвшийся тогда словесным отделением философского факультета. Моим постоянным желанием было сделаться медиком, чтобы обеспечить матушке независимое положение; но она, находя меня решительно неспособным к изучению анатомии и хирургии, прочила меня и всеми силами содействовала для поступления в филологический факультет и притом именно Московского университета, ставя мне в образец Кастора Никифоровича Лебедева, которого очень уважала и любила. Сверх того, суровым обязанностям врача, по ее мнению, не соответствовали ни мои способности, ни характер.

Потому она озаботилась дать мне хорошего учителя греческого языка, предложив ему у нас в мезонине квартиру за полцены с тем, чтобы он учил меня. Это был Дмитрий Осипович Львов, преподаватель греческого языка в пензенской семинарии, из кандидатов Московской Духовной академии.

Кроме греческого языка, он занимался со мной и латинским. Под его руководством я изучил и с удовольствием вы зубрил наизусть несколько од Горация, по маленькому карманному изданию, предназначавшемуся «ad usum Delphini» (в пользу Дельфины (лат.)). В этой книжке под текстом Горация были помещены краткие комментарии, а на полях против каждого затруднительного и неясного стиха – переложение его в прозу общепонятною, как говорится, кухонного латынью. Таким образом, издание это было мне как раз по силам.

Влияние пензенской семинарии не ограничивалось для меня уроками одного и ее преподавателей. Целая половина флигеля на нашем дворе была отдана внаем семинаристам. Их было человек до десяти из младших и старших классов, которые по главному предмету, преподававшемуся в каждом классе, назывались: грамматика (вместо этимология), синтаксис, риторика, философия и богословие. Помнится, было еще два начальных, так сказать – приготовительных класса. Семинаристы трех старших классов называли себя риторами, философами и богословами.

Когда я был мальчиком лет до тринадцати, любил проводить время с младшими учениками семинарии. Поприщем для забав был наш двор и сад с огромным огородом. В зимнее время по снегам этого огорода мы вперегонку скользили на лыжах, а то выкапывали для себя в сугробах медвежьих берлоги и уютно укрывались в них от вьюги и согревались, как нам казалось, в трескучий мороз. В летнее время играли в бабки, которые в Пензе назывались «кознами», и особенно соревновались друг перед дружкой приобретением наилучшей «битки», т. е. такой бабки, которою сшибают с кону обыкновенные «козны», поставленные на кону в один или в несколько рядов. Хорошая битка должна быть велика размером и тяжела, для чего и наливается обыкновенно свинцом. Такою биткою гордился ее владелец. В летнее же время мы любили валяться в сене на сеновале или же сидеть у его широкого отверстия над воротами сарая и твердить уроки. К вечеру на закате солнца – живо помню – с каким интересом ожидали мы возвращения из леса посланных матушкою людей за какой-нибудь хозяйственной надобностью. То кучер Левонтий въедет во двор с возом скошенной им за городом травы, и мы помогаем ему разметывать ее по двору для просушки, а между тем отыскиваем в траве сочные и вкусные стволы шкерды и дягиля; то бабы вернутся из лесу с телегой, доверху наполненной груздями и рыжиками, а нас одевают лесными гостинцами – пучками костяники, клубники или ежевики.

Рассказываю вам всю эту дребедень для того, чтобы дать вам понятие о том, какие впечатления соединяются в моем воображении с дорогими воспоминаниями о нашей пензенской усадьбе.

Если с семинаристами младших классов я делил свои игры и забавы, то риторы и философы нашего надворного флигеля приносили мне существенную пользу, расширяя круг моих гимназических сведений. Они познакомили меня с двумя руководствами на латинском языке, принятыми тогда в семинарии. Это были: Риторика Бургия и Философия Баумейстера. Русские учебники, по которым я проходил риторику и логику в гимназии, достаточно подготовили меня к понимаю обоих семинарских руководств, которые сверх того были мне полезны как практическое упражнение в латинском языке.

Тогда я был очень заинтересован философией: «philosophisch gesinnt» («философски настроенный» (нем.)), как говорят немцы. Случайно увидел я у Дмитрия Осиповича Львова рукописные лекции Голубинского, впоследствии знаменитого профессора философии в Московской Духовной академии; выпросил их у своего наставника и стал читать их с живейшим увлечением, но едва ли с толком. Меня особенно занимало философское учение о я и не-я, а также о пространстве и времени, и о бесконечном. Передам вам, сколько помню, какие делал я над собою опыты для наглядного уразумения философских терминов я и не-я. Например: ум – мой, чувство – мое, рука – моя, но это все не есть я, то есть не-я: что же такое есть это загадочное, неуловимое я? Давай смотреться в зеркало: вот и лицо с глазами и носом, и грудь, и руки, и ноги, и весь я – все это не-я: таким образом, оба эти термина начинают спотыкаться и перепутываться в моей голове, а я все смотрю на себя в зеркало: и мое лицо кажется уже не моим, а чужим, и руки кажутся чужими, и весь являюсь я для себя чужим; это уж не я, а мой страшный двойник. В испуге я трясую головой, махаю над нею обеими руками, будто гоню из нее дьявольское наваждение, и бегу стремглав от своего страшного двойника на волю, под открытое небо. Что же касается до философии о пространстве и времени и о бесконечном, то в ней обращал на себя мое внимание вопрос о бесконечном. Я ухищрялся разрешить его себе также путем наглядности. Для времени я брал настоящую минуту и от нее вел самого себя и назад, в беспредельное прошедшее, и вперед в беспредельное будущее; то же делал и для пространства, исходя от того пункта, где сижу или стою, и также направляясь мысленно назад и вперед в бесконечную даль. Мне очень понятно и ясно представлялась возможность вечно идти вперед или вечно вперед жить до бесконечности и в бесконечности; но когда мысли мои обращались назад для пространства и времени, я никак не мог представить себе вразумительно и наглядно ни беспредельности, ни безначальности и становился в тупик, а чем сильнее напрягал свои мысли и воображение, тем глубже тонул в потемках своей философской путаницы. Этот умозрительный кошмар сильно меня озадачивал тогда и потому засел клином в моей памяти.

Моею охотою философствовать Дмитрий Осипович удачно воспользовался для практических упражнений в латинском языке. Он читал со мною Баумейстера и из прочитанного и объясненного делал мне вопросы по-латыни, и я должен был отвечать ему на том же языке. К этому надобно прибавить, что и содержание од Горация, упрощенное прозаическим переводом, давало ему повод говорить со мною по-латыни. С благодарностью воспоминал я эти беседы, будучи студентом третьего курса, когда Дмитрий Львович Крюков читал нам римские древности на латинском языке и на экзамене требовал от нас ответов по-латыни.

Из этого рассказа о моем школьном обучении вы видите, что оно состояло из двух периодов: из гимназического и семинарского. Оба они были организованы и приведены в стройный порядок предусмотрительными заботами и бдительным попечением моей матушки. Вот почему с живейшею признательностью всегда воспоминал я и теперь воспоминаю вместе с вами о моем школьном обучении. Оно пробудило во мне любовь к науке, которая потом навсегда сделалась предметом и целью всей моей жизни.

VII

После этого длинного эпизода перехожу к письмам, которые матушка писала ко мне из Пензы в Москву в течение двух лет, от августа 1834 г. до мая 1836 г. У меня сохранилось их до 30. Предлагаю из них следующие выдержки.

«79-го августа 1834 г. Друг мой Феденька! Письмо твое меня утешило тем, что ты прикажешь к одиночеству на чужбине. Ты пишешь, что ты писал ко мне прежде этого письма и отправил 8-го августа, а я ничего не получала, даже и известия, хотя бы от извозчика, который вас возил; но он не приезжал. Напиши все ко мне: почем нанял квартиру, и что заплатил извозчику, и много ли у тебя осталось денег. Хозяйский чай не пей. а свой всегда пей: это дешевле и лучше. Не мори себя, покупай на завтрак белый хлеб, ты любишь его: кушай, – мы себе откажем в лакомстве: нас много, мы и черный будем есть; он у нас сделался в половину дешевле. Ради Бога, не сиди убийственно за своим приготовлением к университету, ты уморишь себя да и не одного себя».

«21-го августа 1834 г. Первое письмо твое в дурном расположении духа писано. Что делать! Имей терпение. Это есть первое горе в твоей жизни, и ты так дурно его выносишь. Молись милосердному Создателю. Мне предчувствие говорит, что ты будешь счастлив за бедствия мои. Ты мне не сказал, был ли ты у Иверской Божией Матери и святых мощей; если не был, то, пожалуйста, сходи и помолись им, что должно бы быть первым твоим выходом с квартиры. Я не получила на этой почте от тебя письма, – не сromptала. Пиши, куда не переменится твоя судьба, всякую почту. Ты говоришь, что дорого за квартиру платишь. Нельзя дешевле этого. Я рада, что не дороже. Напиши, как вас содержат, какие кушанья и кто белье моет. Не мори себя; верно, у вас на квартире только обед и ужин, а ты захочешь еще покушать: покупай. У вас хорошие сайки и вообще белый хлеб».

«28-го августа 1834 г. Ты меня пугаешь своей грустью и страхом, что тебя не примут в университет. Что делать! Ты не с тем ехал, что имел верную надежду, чтобы тебя приняли. Мы и дома с тобой рассуждали, что это нам будет тяжело. Год, который ты должен быть вольным слушателем, Господь милостив, Он даст нам средства не умереть с голоду. Не горюй, мой милый! Обними меня своими твердыми руками; поцелуй меня, как друга и мать. Мне тоже не легко: обстоятельства мои опять худы... Пиши ко мне обо всем, что ты чувствуешь и что с тобою случится во время экзамена. Наталья Васильевна мне пишет, что ты ласков к ним и просил, чтобы они тебя перекрестили на экзамен. Это меня радует. Будь всегда хорош, мой друг, утешь меня: это одна моя отрада в этой гибельной для меня жизни».

«11-го сентября 1834 г. Обними меня, милый мой студент! Поздравляю тебя, мой голубчик! Целую тебя. Господи! Как мы все обрадовались, что ты принят. Я это услышала в первый раз на Рождество Богородицы. Мне сказали Яворского дети², и я сделала, как безумная: плачу, молюсь, смеюсь, целую их; потом пришла в себя и не хотела верить до тех пор, пока письмо твое мне скажет. И теперь нет сомнения: мы с тобою счастливы, мой друг. Одно остается – просить на казенное содержание, но Господь милостив. Ты пишешь, что тебе и обещали. Но одно остается мне – молить Господа, чтобы ты не изменился в своих правилах, – и тогда я счастлива».

«2-го октября 1834 г. Здорово, друг мой, Федюша! Расцелуй меня, голубчик мой! Как бы посмотрела я на тебя в новом твоём чине и в новом жилище! Поздравляю тебя с этим счастьем, и себя поздравила и благодарила Господа за Его к нам милость, точно неожидан-

² О Яворском см. ниже, в письмах от 8 января 1835 г.

ную по строгостям. Друг мой. ради Господа и бедственности твоей матери, веди себя так, как я привыкла тебя знать и помнить».

При этом письме приложены две записки от моих пензенских учителей, одна от Александра Христофоровича Зоммера, а другая от Дмитрия Осиповича Львова, в ответ на мои письма. Помещаю их здесь обе.

«Поздравляю вас от души, любезнейший Федор Иванович, с благополучным окончанием экзамена вашего. Зная вашу нравственность и прилежание, твердо уверен, что вы и на окончательном поприще вашего просвещения будете столь же счастливы, как и на первоначальном. Утешайте меня и впредь, хотя изредка, вашим приятным уведомлением; сим вы обяжете преданнейшего вам – А. Зоммер».

«Любезный мой Федор Иванович. Ваши блестящие успехи в вашем предприятии меня очень радуют и подают надежду еще на большие. Благодарю искренно вас и за память ко мне, и за желание мне доброго. Желаемого и вам желаю получить; с сим чувством и моим к вам почтением есть любящий вас – Д. Львов».

«16-го октября 1834 г. Только, милый мой Федюша, я было успокоилась: ты писал мне, что ты уже переходишь в университет жить; письмо твое от 1-го октября меня потрясло. Я боюсь, что ты не поступишь в число казенных воспитанников. Денег 20 рублей ассигнациями тебе посылаю сполна. Пожалуйста, на книги меньше употребляй. Я знаю, что казенным воспитанникам не только книги, даже карандаши и бумага даются казенные. А если книги покупать, ты знаешь наше состояние, а на книги надобно много денег.

Если можно из этих денег что-нибудь употребить на книги, то на самые необходимые и недорогие. Рада, мой друг, что ты знаком с такими значительными людьми и образованными, только прошу тебя ни с кем из них не дружить. Ты поехал в Москву с хорошей нравственностью, и это в глазах добрых и честных людей ценится лучше графства и княжества. Береги себя в тех правилах, которые утешали меня. Кастору Никифоровичу поклонись от меня и скажи ему мою искреннюю благодарность за приветствие тебя. Вот, дружок мой, ты узнал горе и нужду. В письме твоем говоришь о себе: «нет беднее меня». Горько слышать это матери. Куда девалось твое благословение бедности? Ты меня часто утешал и говаривал, что я не умею нести своей участи с терпением. Это потому, что не тебя касались мои горькие обстоятельства».

«17-го ноября 1834 г. Знаешь ли, как ты меня огорчил своим молчанием? Я все придумала худшее с тобою, а больше всего, что ты болен, или уже нет тебя на свете. Но сейчас письмо твое получила, и оно сделало радостное волнение во всем доме. Дети кричат: «Письмо от брата!» Андрюша³ прыгает, крича: «Письмо от Федора!» Одна я молчу и верно больше всех чувствую. Пожалуйста, мой друг, пиши, хотя недели через три, если через две не можешь. Денег я тебе послала 20 рублей ассигнациями, еще октября 15-го или 16-го числа. Я не понимаю, как так долго ты их не получил. Я как приехала из Керенска, то с первою же почтою их послала. Надобности твои для меня очень уважительны, и я скорей откажу себе во всем необходимом, нежели милому моему Федору. Письмо твое меня очень обрадовало, что ты теперь под надзором лучшего родителя, благодетеля сирот, нашего милостивейшего монарха. Да продлит Господь ему многие лета за милости до нас, сирот. Молись за него больше, нежели за меня. Он облегчил мою участь и дал тебе образование. Я бы хотела взглянуть на тебя в твоём новом костюме. Я думаю, что ты еще вырос. Мне нравится и я даже благодарю тебя, что ты учишься еще танцевать: это ведь тоже полезно в обществе... Ты пишешь, что грустишь. Это оттого, я думаю, что и я имею эту слабость. Хоть и журю сама себя часто, но все-таки не исправляюсь. Расцелуй, мой друг, меня... Поклонись милому моему Кастору Никифоровичу и скажи ему мою безграничную благодарность за тебя».

³ Мой дядя.

«27-го ноября 1834 г. Не знаю, милый дружок, и не пойму твоего невнимания, почему ты редко пишешь. Письмо твое ведь писано октября 21-го, последнее, которое я получила. Неужели целый месяц ты не нашел времени мне писать? Это не хорошо, мой друг. Если бы я не уверена была в тебе, то могла бы усомниться, подумав, что ты теперь можешь жить без моей помощи, и потому не хочешь беспокоить себя перепиской. Но я знаю тебя, и потому-то мне мудрено твое молчание. Дядя пишет тоже ко мне, что он писал и тебе, и не получил ответа. И Никифоровы пишут ему, что ты у них не был, и он не знает, на что подумать. Сделай милость, умей ценить к себе расположение. Сходи к Капитолине Яковлевне Никифоровой, тебя там очень обласкают, и напиши к Андрею Сергеевичу. Я ужасаюсь за тебя. Ради Господа, береги себя и не будь опрометчив к дружеству, а в московском университете это ужасно: слухи, убийственные для матерей, имеющих сыновьев в оном. Там необузданная молодежь⁴ не умеет ценить благодетелей нашего милостивейшего, незабвенного, благодетельного монарха. Друг мой, умоляю тебя ради всех моих бедствий: помни милости отца нашего государя, молись за него, а связи с товарищами ничего не могут дать тебе хорошего, кроме поселять неблагодарность к тому, что должно чтить, как святыню. Все-таки умоляю тебя, не имей дружества: оно опасно и кроме зла ничего не приносит. Убегай всего, кроме твоих занятий, а знакомства с товарищами меня ужасают. Мне часто приходит в голову, что я тебя потеряла. Пожалей, милый мой Федюша, меня. Я все уже испытала бедствия, а это меня убьет. Любцовы⁵ тебе кланяются. Озеров⁶ принять в казанский университет; он по юридическому факультету, живет у профессора. Пиши ко мне; не забывай, что твои письма радуют меня, даже все семейство оживотворяется от твоего письма. Федюша! Мне хочется видеть тебя и без тебя. Попроси Аполлона⁷, чтобы он утешил глупость матери: он хорошо рисует – нарисовал бы твой портрет, если захочешь меня этим одолжить. Помнишь, как Лопатин⁸ удачно карандашом с тебя скопировал. Душенька, похлопочи, а если

Аполлон не может, то кто из товарищей, или какой бедняк сделает нам это за безделицу. Ты этим меня утетишь. А величины портрет чтобы был с эту бумажку; она вырезана по медальону».

«20-го декабря 1834 г. Друг мой! Каково, мой милый, должно быть твое восхищение, когда ты узнаешь, через кого получишь это письмо. Да, мой голубчик, почтенная, добрая, милая Марфа Андреевна⁹ уехала от меня. Эта потеря для меня была не очень чувствительна, если бы она не в Москву поехала. Вот как Господь милостив до нас с тобою. Ты думал, что в Москве не найдешь души знакомой: ан явились и благодетели, милые, добрые родные, нет – больше этого. Я знаю тебя, что ты тоже умеешь ценить, всегдашнее помня ее доброе расположение, и потому не для чего напоминать тебе, чтобы ты, как к родным, в свободное время ходил к Владыкиным. Я уверена в них, что и тебя, не как чужого для их чувств, примут. Писать не могу больше, потому что не очень здорова».

«1-го января 1835 г. Друг мой! Ты ропщешь на меня и думаешь, что я сержусь на тебя. Нет, милый, ты меня очень утешил своим послушанием. Письмо твое с тою почтою, также и к дяде, я получила. Оно меня утетило и обрадовало. Милый мой, обними меня, мой добрый и послушный сын! Я молчала оттого, что была больна. Две недели, как я в постели; убийственные ревматизмы меня опять посетили. День Рождества Господня, не знаю, как прошел. Нынче лучше. Вот и рука может марать. Не беспокойся теперь обо мне.

⁴ Это намек на Полежаева, Герцена и др.

⁵ В этом семействе я давал уроки, будучи гимназистом.

⁶ Тот гимназист, который познакомил своих товарищей с Гётевым «Вертером».

⁷ Т. е. Аполлона Ильича Верховцева.

⁸ Молодой человек из помещиков нашей губернии.

⁹ Владыкина.

А ты оскорбляешься, что я прошу тебя беречь свои правила. Нет, милый, не оскорбляйся: я не думаю, чтобы они изменились, но сообщества я боюсь, а ты уверил, что не имеешь его, – и я покойна. Не обижай меня и не избирай поверенных. Я горжусь правилами моего сына. Одна молодость твоя меня иногда ужасает. К Никифоровым ходи. Они пишут и брату, что очень тебя полюбили, и особенно этот молодой Зиновей Иванович¹⁰ тебя очень полюбил. Не теряй этого знакомства. Обними меня, мое сокровище! утешь меня бесценной любовью».

«8-го января 1835 г. Я думаю, милый мой Федюша, ты уже знал, как я встретила праздник и Новый Год. Тебя, мой друг, благодарю, много благодарю, что ты писал ко мне это время всякую почту. Это меня утешало. Нынче я, слава Богу, сижу и могу пройтись по своей спальне; на Крещение в гостиной сидела и видела крестный ход. Слаба еще очень, но ужасные ревматизмы не много уже беспокоят. Лечил меня нынче почтенный Яворский¹¹. Как жаль мне его: он переведен в Москву. Кому-то лечить меня без ничего? Я рада, что ты весело провел праздник и с милыми, добрыми родными. Мне досадно, что ты праздником не был у Никифоровых. Если этому мешал все мундир, то я уже начинаю сердиться на мундир и, право, советую тебе любить вицмундир лучше мундира, которого у тебя нет, и будь доволен тем, что есть. Сходи к Никифоровым нынче и извинись, почему не мог быть праздником; будь откровенен, ходи к ним. Этим угодишь дяде, да и для тебя не дурно. Напиши, имел ли ты хоть маленький случай потанцевать в Москве, и что твое ученье танцев, – продолжается или нет? Да и где твое имущество, взятое из дому? Напиши мне. Дают ли казенные носочки? И что и чего тебе дали? Напиши, это не тяжело тебе, а мне знать необходимо надобно, а иначе я не сумею, как пещись о тебе. Устала я, Федюша, прости, обними меня, мой милый, и поцелуй. Благословение Господне над тобой. Дети тебе кланяются и целуют. Софья очень хорошо учится, читает прекрасно. Она часто для меня читает, когда я сама устану. Софья – милая девочка и трудолюбивая. Она мало нынче играет: или учится, или работает, или мне что читает. Это меня восхищает: я с ней, как бывало с тобою, советуемся и разговариваем.

А Серафима? Ах, Серафима! Она меня пугает, то такая беззаботная голова. Она, кажется, о земном нисколько не заботится, учится – и это все машинально. Читает ужасно еще дурно. Когда учитель ей подпишет в аттестате: «хорошо», я спрашиваю ее, за что ей хорошо подписали? Она говорит: «Не знаю, что ему вздумалось это написать», и пойдет к учителю, спрашивает его: «За что вы мне подписали: «хорошо»? Я училась дурно, а вы вздумали подписать мне «хорошо»?» И вот ее чудесное правило. Софья тебя целует и обнимает, тоже и Серафима целует тебя. Вчерась и нынче замучила она меня, велела написать: долго ли, говорит, мне его ждать? Я соскучилась. Неужели до Святой недели он еще не придет? И даже сердится за это на тебя. Нянька тебе кланяется».

«22-го января 1835 г. Здоровье мое очень медленно, но, слава Богу, поправляется. Голубчик мой, ты пишешь, что грустишь о родине и о нас. Это потому, что мое, изнуренное болезнью и горестью, бедное сердце тоскует и весть дает отлетелому твоему детскому сердчишку. Да, Федюша, наше свидание неизвестно: проклятая бедность! ты всему виною. Я хожу по комнатам, но не знаю, кажется, я всю зиму не почую свежего, зимнего, морозного воздуха. У меня сколько постояльцев и какие, ты хотел знать. Кажется, ты писал мне когда-то. Первый Дмитрий Осипович¹², и к нему на той неделе приехал Павел Осипович, его брат, а в детской, или кабинете – и как бы эту комнату назвать, в которую ход из лакей-

¹⁰ Никифоров, сын Капитолины Яковлевой.

¹¹ Главный врач в Пензе, человек очень богатый и наш добрый знакомый. Разумеется, лечил всех нас даром (см. в письме 11-го сентября 1834 г.).

¹² Учитель семинарии, с которым я занимался по-гречески и по-латыни.

ской и из девичьей – квартирует недавно приехавший из московской академии инспектор здешней семинарии на всем столе, а в зале поденно кто-нибудь приезжий из Керенска».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.